

137
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



W²³⁶
320

ДАНИЯ

И. ИЕНСЕН

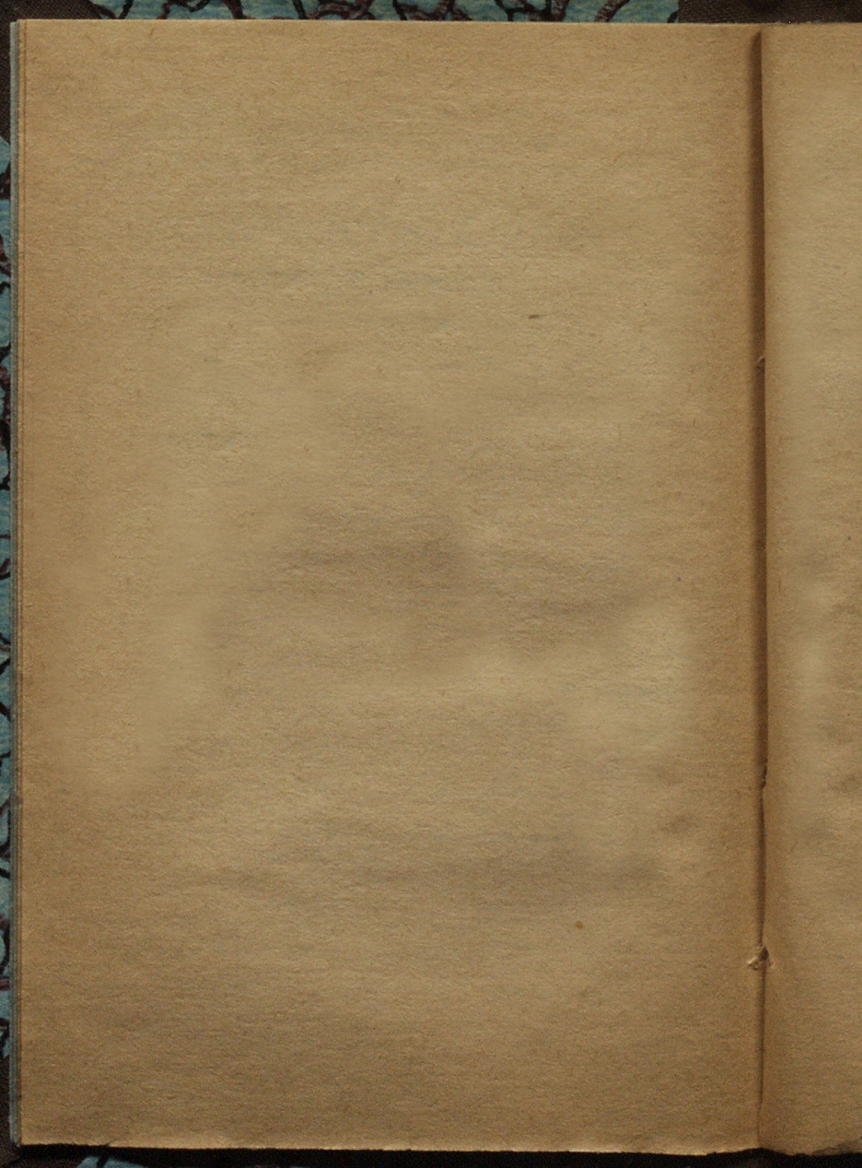
ГИММЕРЛАНДСКИЕ
РАССКАЗЫ

ВЫПУСК
№ 25



ПЕТЕРБУРГ
МСМХІХ





Вып. № 25.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

27744.

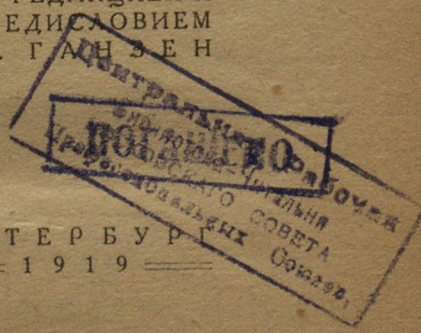
И. ИЕНСЕН
J. J E N S E N
1873

ГИММЕРЛАНДСКИЕ
РАССКАЗЫ

W/236
320

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И
С ПРЕДИСЛОВИЕМ
А. В. ГАНЗЕН

П Е Т Е Р Б У Р Г
1 9 1 9



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Йоганнес В. Иенсен—современный датский писатель, соединяющий с ярким и чрезвычайно своеобразным талантом большую литературную плодovitость, завоевал себе за последнее десятилетие более чем широкий круг читателей не только на родине, но и за границей,—особенно в Германии. Любимец широкой публики, он вместе с тем высоко ставится избранными ценителями литературы и руководителями художественных вкусов общества. Некоторые из произведений Иенсена,—главным образом, из знаменитых „Гиммерландских рассказов“—причисляются даже к наилучшим образцам датской литературы.

Родился Иенсен в 1873 г., в местечке Фарсё в Гиммерланде*), наиболее своеобразной и самобытной части Ютландии, где отец его занимал должность уездного ветеринара. Из десяти человек детей Йоганнес был вторым по старшинству и рос в очень скромной обстановке; обиход семьи немногим отличался

*) О Гиммерланде см. ниже стр. 17.

от общекрестьянского, что объяснялось не только ограниченностью материальных средств семьи, но и крестьянским ее происхождением. Ветеринар Иенсен был сыном землепашца и ткача, коренного Гиммерландца; жена его — уроженкой о. Фальстера. Учился Иоганнес в народной школе и дома, под руководством то одного, то другого из местных приходских пасторов, и только 17 лет от роду впервые очутился за пределами родного Гиммерланда, поступив в 4-ый класс гимназии города Виборга, одного из главных городов Ютландской провинции. Через три года Иоганнес был уже студентом Копенгагенского университета.

Избрав своей специальностью медицину, молодой Иенсен два года работал при госпитале, но в 1896 г. променял медицину на литературу. В этом году двадцатитрехлетний студент выступил в печати с повестью „Датчане“, посвященной изображению датской молодежи, гимназистов и студентов, — по преимуществу из провинциальной среды, — уроженцев и питомцев маленьких городков и деревни.

Более чуткие из датских литературных критиков сразу отметили свежее многообещающее дарование автора „Датчан“, его острый верный глаз наблюдателя, способность схватить и зарисовать несколькими характерными чертами, как внешний, так и внутренний образ наблю-

даемых предметов, и живую, своеобразную манеру изложения.

Спустя два года, молодой писатель, успевший тем временем побывать в Америке, издал роман „Эйнар Элькер“ (1898 г.), героями которого также явились представители датской молодежи, поколения девяностых годов. Роман этот укрепил надежды, возлагавшиеся критикой на автора „Датчан“, а последовавший за романом сборник рассказов „Гиммерландцы“ (1898 г.) оправдал эти надежды в такой мере, что Иенсен был единогласно признан крупным художником слова, имевшим все права на одно из первых мест в ряду молодых скандинавских писателей.

От внимания серьезных критиков не могли, конечно, ускользнуть внешние и внутренние недостатки первых произведений Иенсена, но недостатки эти не умаляли значения самых произведений, как наиболее ярких проявлений духа того самого поколения, которое описывал и к которому принадлежал автор.

В „Датчанах“ и в „Эйнаре Элькере“ он с захватывающей искренностью изобразил душевные противоречия, беспорядочные искания и беспочвенные надежды своих сверстников. Эти семнадцатилетние и двадцатилетние гимназисты и студенты, подстрекаемые с одной стороны беспокойным, алчущим новых идей

духом времени, с другой — угнетаемые глубоко засевшей в их душах закваскою прошлого, пережитками старого мировоззрения, заглушавшими ростки всего нового, — так стремительно спешили зараз и вырывать с корнем старое, и созидать новое, что быстро изнемогали; усталость же порождала в них тоску и отчаяние.

Всего лучше удался Иенсену из таких современных ему типов тип датского студента с крестьянской и христианской подоплекой (если можно так выразиться), захваченного модным учением немецкого писателя-философа Ничше, который делил все человечество на рабов и на господ — в духовном смысле, т. е. на толпу и на избранных, способных рождать новые мысли, создавать новые законы нравственности, словом, быть „господами жизни“, высшим типом человека или „сверхчеловеком“. Смело и правдиво, хотя не с равномерною художественностью, Иенсен изобразил, как идеи Ничше, вторгнувшись в сознание студента, вышедшего из глубоко религиозного народного слоя, не только опрокидывают все его врожденные нравственные чувства и понятия, но прямо разрывают их в клочья. И как затем это врожденное духовное содержание вновь и вновь пытается сродиться, сложиться заново,

основываясь на новой истине, проникающей в сознание. Всякий раз, когда такой человек готов сделаться добычей привитых ему болезненных настроений и чувств, ему на помощь спешит природный здравый смысл, который, как хладнокровный хирург, в любую минуту готов приступить к спасительной операции, к вскрытию душевных нарывов, внушая надежду на выздоровление.

Жажда выздоровления и уверенность в победе здоровых начал—характерные черты творческой личности Иенсена, обусловившие переход датского писателя к другим темам и типам, что и отличает его от многих других писателей, творчество которых сохранило свой болезненный характер, не пойдя дальше изображения героев в духе Ницше, вернее—неудачных кандидатов в „сверхчеловеки“.

Другие темы и типы Иенсен тоже нашел в родной действительности, но в другой среде,— в той, где провел свое детство и отрочество. В том же году, как и „Эйнар Элькер“, вышли „Гиммерландцы“, явившиеся первым зрелым плодом творчества Иенсена и составившие первый сборник „Гиммерландских рассказов“, которые вызвали почти восторженные отзывы печати и быстро завоевали Иенсену внимание читателей.

Следующие два сборника „Гиммерландских рассказов“ (1904 и 1910 г.г.) имели столь же крупный успех, и критика отнесла некоторые из этих единственных в своем роде рассказов, рисующих оригинальные нравы и типы родины автора, к „неподражаемым и неувидаемым образцам“ народно-бытовой литературы, не только датской, но и общеевропейской.

Наряду с лучшими из „Гиммерландских рассказов“ могут быть поставлены и лучшие из „Мифов и типов“, четыре сборника которых вышли в течение 1907—1912 г.г. В „Мифах и типах“ нашла себе простор богатейшая фантазия автора, много путешествовавшего и черпающего свои сюжеты во всех странах, в пределах между двумя полюсами, и во всех временах—и в далеком прошлом, и в настоящем, и в будущем. Полет фантазии, однако, не увлекает Иенсена в „Мифах“ за пределы художественной меры, и в смысле формы и языка он остается тем же мастером, как и в рассказах из родного действительного быта.

К „Мифам и типам“ примыкают с одной стороны сборники рассказов, под заглавием „Леса“ (1904 г.) и „Экзотические рассказы“ (1907), с другой—обобщенные (как указывает сам автор) внутреннею идеей крупные произведения: роман-трилогия (т. е. роман, состоящий из 3 самостоятельных частей) „Падение

Короля" (1900—1901), романы „Мадам Д'Ора" (1904 г.) и „Колесо" (1905 г.), „Ледник" или „Мифы о ледниковом периоде и о первом человеке" (1908 г.) и „Корабль" (1912 г.)

В этих произведениях фантазия писателя развернулась еще шире и создала ряд блестящих, увлекательных картин. Немые леса и старые стены, звезды и ветры, животные и птицы—все как будто обретают дар слова и делятся с писателем своими сокровеннейшими внутренними переживаниями, а он пересказывает их нам своим гибким, звучным, живописным языком. Раскрытой книгой являются для него и тайники душ людей, даже самых чуждых ему, далеких рас и поколений. Он умеет проследить все их побуждения и поступки до самых первоисточников, до глубоко схороненных в этих душах первобытных инстинктов.

Наиболее характерен в этом отношении „Ледник" или „Мифы о ледниковом периоде и о первом человеке".

На фоне доисторической природы оживают под пером Иенсена доисторические люди и животные, которых особенно облюбовала его творческая фантазия. В живописных картинах, выпуклых образах и драматических сценах разворачивается перед читателями история человеческой культуры, постепенного преобразования жалкого первобытного дикаря, недалеко ушед-

шего от обезьяны, в покорителя природы, в творца и двигателя прогресса.

Роман „Корабль“, составляющий, в сущности, продолжение „Ледника“ менее удался автору. В обработке темы не чувствуется той победоносной непосредственности поэтического творчества, которая отличает „Ледник“ и большинство других произведений Иенсена. Но и „Корабль“ богат мастерскими описаниями природы, живыми типичными фигурами и сценами, полными то высоких напряженных чувств, то заразительной веселости. Особенно хороши некоторые картины моря и все сцены, в которых участвуют дети.

„Падение короля“—самое поэтическое из прозаических произведений Иенсена. В обрисовке характеров и событий больше поэтической правды, нежели исторической верности, а главные действующие лица являются скорее просто носителями идей автора, чем историческими фигурами, но в самое их изображение вложено автором столько сердечной теплоты и тонкого понимания человеческой души, что они кажутся выхваченными прямо из жизни и производят глубокое впечатление.

„Мадам д'Ора“ и „Колесо“—создания причудливой и необузданной фантазии. Писателю как будто надоели скучные комедии будничной жизни, и он с улыбкой отдался самым фанта-

стическим, почти горячечным грезам, заодно утверждая, что они—действительность.

Своим происхождением оба романа обязаны сильным впечатлениям, вынесенным молодым писателем из пребывания в Америке.

Место действия первого романа—Нью-Йорк второго—Чикаго. Американские впечатления Иенсена вылились в ряде эффектных картин жизни этих городов-великанов и в прославлении осмысленной целесообразной рабочей силы.

Проходящее красной нитью в „американских“ романах Иенсена преклонение поэта перед „рабочим духом“ века, с его научными открытиями, техническими завоеваниями и культурными приобретениями, находит более безыскусственное и серьезное выражение в путевых очерках, литературных характеристиках и портретах, в критических и публицистических статьях, вошедших в сборники: „Готический ренессанс“*) (1901 г.), „Новый Свет“ (1907 г.), „Дух Севера“ (1911 г.) и „Введение в историю нашего века“ (1915 г.). Говоря в поименованных произведениях о завоеваниях современной науки и техники, об успехах промышленности, распространении положительных знаний, улучшении жизненных условий трудовых масс, отмечая общий культурный рост человечества, Иенсен поднимается иногда

*) Ренессанс—возрождение.

до такой высоты поэтического настроения, какая в былые времена считалась уместною лишь в области чистой поэзии. Но Иенсен чувствует дыхание поэзии и в мерном стуке поршней и в гудении машин, в автоматическом вращении маховых колес и в бешеном беге локомотивов; в фабричной трудовой дисциплине и в беспорядочной уличной сутолоке. Поэт, любовно воскрешающий в своих произведениях доисторическую первобытность и седую древность цивилизованного мира, оказывается в то же время певцом современной „машинной культуры“. Сочетание своеобразное, но не противоестественное. В творчество Иенсена это сочетание, во всяком случае, не вносит раздвоенности. Что бы он ни описывал, ни изображал, он остается верным себе и, как поэт, и как человек, выше всего ставящий самое ж и з н ь, озаренную светом ничем не затемненного разума, направляемую твердой трудовой волей, ведущую к совершенствованию человеческого рода и к возможному улучшению его земного существования.

Не лишнее повторить, что при всем разнообразии тем творчества Иенсена, почерпаемых им, как уже было отмечено, во всех временах и странах, он является писателем истинно народным. Творчество его имеет глубокие корни в родной почве, и горячая любовь к родине,

как и высокое мнение о духовных силах, способностях и роли северо-германской нации в мировой истории, проникают более или менее явно все его произведения и обуславливают самое возникновение их.

* * *

Наиболее ценным ядром богатого творчества Иоганнеса Иенсена остаются „Гиммерландские рассказы“, вызвавшие в свое время, как уже упомянуто, почти восторженные отзывы датской печати.

Прежде всего в этих отзывах подчеркивалась совершенно новая манера изложения, напоминающая своей глубокою выразительностью и богатством языка, прижатости слога, стиль знаменитых древне-северных сказаний, но в смысле изображения людских типов и характеров вполне современная. Литературные ценители допускали даже, что необычная сила и непосредственность изложения могли поставить в тупик среднего читателя, которого автор вводил как бы в совсем новую для него область словесного материала и словесных построений, поражая своеобразием языка и тона, в которых первобытная суровость, почти грубость, соединялась с мягкой гибкостью и захватывающею сердечною теплотою.

Далее критикою единодушно отмечалось, что в обрисовке самых образов и типов, взращенных родною почвой писателя, чувствовались

мощь, страсть, размах и глубина, каких давно уже не знавала датская литература. Словом, признавалось, что на этих образах лежит та же печать крупного самобытного таланта их творца, как и на языке, который он создал для словесного их воплощения.

Поразившая критику и публику своеобразность писательского облика молодого Иенсена в значительной степени объяснялась своеобразием самой среды, из которой он черпал материал для „Гиммерландских рассказов“. Все первые 17 лет своей жизни целиком Иенсен провел в родном Гиммерланде, со всею восприимчивостью и чуткостью богато одаренной детской души впитывая в себя дух и быт этой наиболее своеобразной части Ютландии, которая, в свою очередь, до сих пор еще остается самою обособленною и самобытною из датских провинций.

Глубоки и богаты зародышами творческих идей оказались эти детские и юношеские впечатления; из них выросли не только „Гиммерландские рассказы“, они легли в основу всей литературной деятельности датского писателя, как он сам подтверждает в очерке, посвященном описанию Гиммерланда.

Гиммерланд—восточная часть Ютландского полуострова, ограниченная с севера и с запада заливом Лимфьорд, с юга заливом Мариа-

гер, а с востока проливом Каттегат,—представляет собой сравнительно невысокое плоскогорье (в среднем футов 200 над уровнем моря), пересекаемое с востока на запад несколькими более высокими увалами. Торговые города, расположенные на расстоянии 8—10 датских миль*) один от другого, образуют как бы наружное кольцо вокруг внутреннего Гиммерланда с его немногочисленными захолустными городками, поселками и редко разбросанными крестьянскими хуторами или дворами. Та часть западного Гиммерланда, где родился и вырос Иенсен, является совершенно открытой, безлесной равниной, по которой свободно разгуливает буйный ютландский ветер. Ветер этот дует не только целыми днями, но целыми неделями напролет, ни на час не ослабевая, и сам Иенсен, много где побывавший на белом свете, говорит, что не встречал угла, где бы ветер был хуже, дул упорнее во все времена года, чем на его родине.

В периоды равноденствия **) и в зимнее время ветер усиливается до бури, которая „норовит выплеснуть всю воду из озерков и прудов“, срывает соломенные крыши со строений и уносит пустые ящики и бочки и тому подобные предметы из одной волости в другую.

*) Датская миля равняется 4 верстам.

**) В марте и в сентябре, когда день равен ночи.

Глазу человеческому почти не на чем отдохнуть в этой безрадостной местности, кроме жалких истрепанных ветром садилов при крестьянских дворах; нигде ни деревца, ни живой изгороди; за исключением небольших возделанных участков, всюду голая земля, летучий песок или вересковая степь. Почти нет и помещичьих владений; очень мало сел или деревень; главным образом — небольшие крестьянские хутора или одинокие дворы.

Заселение Гиммерланда происходило в сравнительно поздние времена, и заселялся он постепенно, по преимуществу отдельными переселенцами-крестьянами, выходцами из других местностей полуострова или датских островов, что и обусловило особый внешний и внутренний характер самой местности и ее обитателей: почти нет „господ“, преобладают крестьяне-домохозяева, хоть и мелкие, но собственные, люди нетребовательные, но самостоятельные, выносливые, упрямые в труде и в своих стремлениях, но осторожные, бережливые и крайне замкнутые. Присущая их натуре глубокая первобытная страстность способна давать себя знать бурными, порою даже чудовищными взрывами, но большею частью находит себе невинный исход в безудержном хмельном веселье крестьянских пирушек по окончании жатвы, после уборки хлеба, по случаю свадеб и т. и

Отличающие коренных гиммерландцев трезвая деловитость и крепкая привязанность к родной земле, к привычному укладу жизни уживаются в них со стремлением к сказочным далям и с „тягой за море“, в Новый свет. Гиммерланд дает очень высокий процент переселенцев в Америку, но они редко порывают связь с родиной, напротив, часто возвращаются назад—навсегда или на время—и служат проводниками новейшей культуры. Эта культура несет с собой много хорошего, полезного; во многих отношениях освобождает умы, раскрепощает физическую силу, сближает и равняет между собою, как отдельные народы, так и различные слои одного и того же народа, но вместе с тем до известной степени обезличивает, обесцвечивает, стирая национальные и бытовые особенности. И недалеко, пожалуй, то время, когда от старого самобытного Гиммерланда уцелеет лишь поэтическое его отражение в произведениях Иоганнеса Иенсена и других писателей.

Живым примером упомянутого влечения гиммерландцев вдаль, в заморские страны, является сам Иенсен. Но где бы он ни странствовал он всюду чувствовал себя природным скандинавом, и чем больше видел чужих земель, тем сильнее ощущал—по его собственному признанию—свою неразрывную связь с родиной.

Бедная внешними событиями, замкнутая в кругу внутренних впечатлений, жизнь в Гиммерланде, и еще более бедная природа последнего, были для Иенсена богатым источником чувств и мыслей. Самыми глубокими и задушевыми впечатлениями детства он—по его словам—был обязан Гиммерландской степи.

Рассеянные по ней в изобилии памятники старины—„богатырские курганы“ или могильные холмы древних вождей, „исполиновые горницы“,—т. е. гробницы, сложенные в доисторические времена из громадных гранитных или известняковых плит,—и так называемые „кухонные остатки“ (скопившиеся на местах частых стоянок доисторических кочевников куди раковин, костей, обломков орудий, домашней твари и т. п.)—рано стали привлекать внимание пытливого детского ума. Связанные с этими немymi свидетелями глубокой древности народные сказания и поверья давали богатую пищу жадной детской фантазии и способствовали раннему пробуждению в Иенсене поэтической тоски по давно минувшему, стремлению проникнуть вглубь веков, а беспредельный горизонт степи, где-то вдали сливавшейся с небом, тревожил воображение мальчика и манил его в даль.

Юношей и взрослым человеком Иенсен удовлетворял оба эти сильные влечения своей

природы, и оба они запечатлены в его художественном творчестве, — как уже отмечено выше, в общем обзоре произведений датского писателя.

Но, — как также отмечено выше — устремление вглубь и вдаль не помешало тому, что самый зрелый и, пожалуй, самый ценный плод литературно-художественной деятельности Иенсена — „Гиммерландские рассказы“ — вырос из наиболее близкой ему и по времени и по месту действительности. Из действительности, с которой он сжился, сросся органически душой и телом. Вот откуда завидная уверенность и легкость пера, необыкновенные искренность и непосредственность рассказчика, восхищающие критиков и читателей „Гиммерландских рассказов“. В последних нет ничего надуманного, натянутого. Автор, видимо, с полной неприужденностью следовал своему писательскому призванию, давал полное выражение музыке своей души, полный исход звучащим в ней мотивам, не связывая себя никакими предвзятыми мыслями, не задаваясь никакими посторонними целями, кроме одной главной — создать живые образы и правдивые картины жизни, в которых перед читателем встал бы воочию внешний и внутренний мир Гиммерланда, каким знал его сам писатель — непосредственно и по рассказам окружающих.

Цель эта достигнута им вполне. Необыкновенные типы и своеобразный быт „мужицкого“ царства—Гиммерланда—становятся в художественном изображении Йенсена понятны и близки каждому мало-мальски чуткому и вдумчивому читателю. Он оказывается в состоянии разобраться в душевных переживаниях, побуждениях и поступках этих людей, как бы они ни отличались от него физической природой и характером; они способны не только заинтересовать его, но и заставить полюбить их, с волнением и участием следить за их судьбою.

Лучшие из „Гиммерландских рассказов“ отличаются или глубокой трогательностью, или заразительным юмором, — добродушно-насмешливую шутливостью без примеси желчи или яда. Характерным примером рассказов трогательных может послужить „Сельген-Малыш“ — коротенькое, бесхитростное и бесслезное, но хватающее за сердце повествование о скорбной судьбе деревенского сироты. А лучшими примерами рассказов второго рода являются „Ане и Буренка“, „Сони“ и в особенности „Зверинец“. В последнем из названных рассказов, справедливо называемом „жемчужиной датской литературы“, описывается, как посетил Ютландское захолустье всемирно известный зверинец американца Уомбеля.

В мирное, почти сочное существование гиммерландских обывателей ворвалось нечто ослепительное, шумное, взбудораживающее, нечто из „большого света“, где все по иному, по особенному. Происходит как бы столкновение двух миров — мира американской напряженной деловитости, почти бешеной энергии, лихорадочной быстроты, крикливого шарлатанства, бьющих в глаза эффектов, и — мира тяжеловесной черноземной силы, угрюмой сосредоточенности, умственной и телесной неповоротливости, мужицкой недоверчивости и наивного невежества. Несложный, но своеобразный внутренний мир гиммерландцев потрясен, взбаламучен. За один день они восприняли внешних впечатлений больше, чем за всю жизнь, и отзываются на них по своему, невольно обнаруживая при этом свою истинную, прежде глубоко запрятанную сущность. Главная прелесть рассказа в умение автора передать эти разнообразные, ошеломляющие или возмущающие впечатления так, что читатель сам невольно переживает их вместе с героями рассказа, и получает общую сумму впечатлений всей деревни, почти не чувствуя посредничества автора. Последний хоть и ведет рассказ, в сущности, от своего лица, но настолько в духе и манере действующих лиц, что читатель как бы видит их глазами, слушает их ушами,

приобщается к их образу мыслей и узнает их подлинную манеру выражаться.

В смысле естественности и выразительности тона и меткости и образности языка „Зверинец“, вообще, от начала до конца образец высокого мастерства. В бытовом же и психологическом отношении особенно выдаются две сцены: первая — где Уомбвель, действуя, как настоящий укротитель зверей, заставляет мужицкую аристократию в поте лица вытаскивать из грязи застрявший фургон, и вторая — где он сам чувствует себя побежденным козостью и упрямой недоверчивостью толпы; затем сцены знакомства крестьян с невиданными зверями и, в особенности, те сцены, в которых выступают три мальчугана, представители пробуждающегося в Гиммерланде нового духа.

Вполне оценить „Гиммерландские рассказы“ в состоянии лишь читающие их в оригинале. Однако, и чужестранцы, принужденные довольствоваться переводами, не могут не согласиться с мнением авторитетных критиков-земляков Иенсена, что это — не просто рассказы из народного быта, но истинно художественные произведения, занимающие совершенно особое место в мировой литературе.

Анна Ганзен.

ЗВЕРИНЕЦ.

В самый разгар лета на постоянный двор поселка Кельбю неожиданно завернул диковиннейший огненно-красный кабриолет *) с колесами невероятной величины. Тонкие спицы были больше трех аршин длиною, считая от ступицы до обода. В красные оглобли была впряжена долгоногая лошадь, иностранное происхождение которой бросалось в глаза — коротко обстриженные грива и хвост и жилистые бока. А наверху, на головокружительной высоте сиденья, восседало двое: элегантный старый господин в толстом ульстере **) и молодая дама. Дама была важная, под вуалью, и удивительно хороша собой. Господи Иисусе, можно было свихнуться от одного ее взгляда!

Господин этот не был ни инспектором путей сообщения, ни торговым комиссио-

*) Легкая двухколесная повозка, в которую впрягается одна лошадь с помощью вылобленных оглоблей; сиденье для двух седоков.

**) Пальто английского покроя.

цером, ни проезжим помещиком; нет, это были совсем чужие люди. И оказалось, что они даже не умеют говорить по-датски! Трактирщица, мадам Бьёрн, немедленно послала местного лавочника за домашней учительницей, которая выдержала экзамен на шесть классов,—не пожалует ли растолковать, что говорят иностранцы? Когда та явилась, приезжие сидели в гостиной за столом, на котором была разложена карта. Разговор с учительницей вышел не особенно продолжительным: они только попросили чего-нибудь поесть и, когда это было передано мадам Бьёрн, перестали разговаривать с учительницей. Были они из Англии и, разглядывая карту, то и дело упоминали городок Гробёлле, немилосердно коверкая выговор. У старого господина были аристократические белые руки, и он все время вертел в них черепаховую табакерку; вдобавок он уже слегка трясясь всем телом, но в общем проявлял еще удивительную живость для старца, оживленно болтал, но ни разу не улыбнулся. Зато молодая дама улыбалась за двоих, — удивительно была веселая, громко смеялась и держала себя «по-влюбленному», пока они

кушали. Девушка, прислуживавшая им, решила, что это—повообрачные, совершающие свадебную поездку, а поэтому сочла подобающим, подавая им кушанья, томно извиваться и нежно улыбаться. Угостили их жареным угрем, и у мадам Бьёри камень свалился с сердца, когда она заметила, что блюдо пришлось им по вкусу. Ножи и вилки у них были свои, из массивного серебра, и хранились в кожаном футляре. Очевидно, это были люди не простые; вся их одежда и пожитки, оставленные в экипаже, были также добротные, дорогие. Просидев у трактирщицы час и подкрепившись, путники отправились дальше к югу, по направлению к Гробёлле. Диковинный экипаж собрал под навесом много любопытных, и все глаза с немим участием провожали сверхъестественно высокий кабриолет, покотившийся по дороге; когда же он, наконец, скрылся из виду, глядевшим ему вслед людям вдруг показалось, что они уж слишком хорошо знают друг друга.

День спустя разнесся слух, что через пять дней через Кельбю проедет огромный зверинец. Показывать же его будут в городке Гробёлле. Зверинец называется

«Уомбвель» и прибыл из Англии; это был один из самых крупных странствующих зверинцев в мире. Теперь он подвигался с севера, и последняя стоянка его была в городе Ольборге, где он поразил всех и каждого. Направлялся он собственно в город Виборг, но по пути собирался сделать привал в одном единственном пункте Гиммерланда *), и выбор пал на Гробёлле, как на центральный пункт, а не в силу каких-нибудь особых заслуг городка. Зверинец двигался огромным караваном и, говорят, мог бы вместить в своих фургонах **) целую волость.

В зверинце имелось несколько взрослых слонов, целый фургон львов и много других фургонов, наполненных всевозможными дикими тварями, катие только водятся на земле. Старый господин, проезжавший в кабриолете, был еще не сам владелец зверинца Уомбвель, а только его секретарь, который ехал вперед и подготавливал путь зверинцу.

Два дня спустя после проезда секрета-

*) Гиммерланд — восточная часть Ютландского полуострова, ограниченная с севера и запада заливом Лимфьорд, с юга — заливом Мариагор, а с востока — проливом Каттегат. Главные города: Ольборг, Нибе, Лэгстөр, Виборг и Гобро.

**) Крытая колыхага.

ря через Кельбю, туда прибыли три тяжелейших воза досок и бревен в сопровождении целой команды иностранных рабочих. Во главе ехал верхом инженер, бешеный англичанин, чуть не уложивший мадам Бьерн в гроб за те полчаса, что пробыл на постоялом дворе. Скоро открылось, что весь этот штаб был выслан вперед чинить дорогу и мосты. Само собой разумеется, что во многих местах наша дорога не могла выдержать умопомрачительно тяжелых фургонов, а мосты тем более не были рассчитаны на слонов. У инженера были полномочия от окружного начальника на всякие такие работы. Потом оказалось, что он почти заново отстроил мост через реку Могольм. Всех удивляло, что такие огромные расходы могли окупиться, раз зверинцу предстояло проехать по этой дороге всего один раз. Даже крупные земельные собственники насторожились; это не было похоже на замаскированное нищенское предприятие, и сам Уомбвель, очевидно, не смахивал на тех бродяг, что утаптывают проселочные дороги, таская за плечами шарманку с обезьянкой.

«Уомбвель» показался на Ольборгской

дороге утром в среду, в жаркий и пыльный июльский день. Первое представление должно было состояться в Гробёлле в тот же вечер, а второе на другой день; Уомбвелю не с руки было откладывать представление до воскресенья, а публике приходилось уж сообразоваться с его удобствами и явиться или не явиться, как кому угодно.

Все жители Кельбю и окрестностей были на ногах в ту среду. Еще задолго до того, как показался самый караван звенящего, с севера стали прибывать передовые отряды всадников и возов с разною кладью; и во всем—и в лошадях и в людях—было что-то сногшибательное и заграничное. Вozy были нагружены всевозможными орудиями: шестами, парусиной и проч. И, Господи, Твоя воля!—как суежились рабочие, сопровождавшие вozy! Они молили языком, как мельницы, на своем дявольском наречии, прыгали, бегали, хлопали бичами и гикали; все у них должно было идти рысью или вскачь. Они быстро заволокли весь постоянный двор и вели себя без всякого стеснения; им некогда было ждать, и, если им не подавали требуемого сию же минуту, они

брали сами, что хотели—и корм для лошадей и пиво для себя. Мадам Бьёрн была в отчаянии: гостей уже девать было некуда, а настоящего-то зверинца еще не было и в помине! Наконец, она пришла в полное изнеможение и расплакалась, взывая к Создателю. Нет, ей не под силу справиться; пускай их орудуют сами, как знают! Дворнику дали на подмогу Фредерика Юста и Нильса Лива, и они втроем качали воду и заготавливали соломенную резку до седьмого пота и все-таки не могли удовлетворить спроса.

Приезжие рабочие сами взялись за дело, и ведро принялось летать вверх и вниз между стенками колодца, словно на пожаре, а ножи в соломорезке так и зачастили.—просто страшно было смотреть! Один из приезжих, знавший немного по-датски, хотел купить коров и обрушился на нескольких крестьян, стоявших неподалеку; но они вовсе не собирались продавать своих коров,—с чего он взял, ферт этакий? Тогда он вскочил на лошадь и влетел во двор к Ове Иёргенсену, чтобы достать коров у него, но Ове живо выгнал его. Молодчик помчался к Андерсу Миккельсену, человеку деловому;

Андерс попросил сначала выложить деньги на стол и через две минуты продал англичанину четырех лучших своих коров за полуторную цену. Ове Йёргенсен чуть было руки на себя не наложил, когда узнал об этом, и долго не мог опомниться от своего промаха. Четырех коров пригнали на постоянный двор, и никто оглянуться не успел, как животных зарезали, и семь-восемь опытных молодцов принялись кромсать туши. Очевидно, готовили завтрак для зверей.

Скоро показался и главный караван; в трактире поднялся настоящий Содом; комнаты битком набились чужими горластыми людьми. Мадам Бьёрн прямо очумела и принялась громко хохотать с отчаяния, а девушка ее признавалась потом по секрету, что у хозяйки от страха и тревоги натекло в деревянные башмаки. Старый Нильс Лив чуть было не попал в беду, озлившись на чужото кучера. Этот нахал без спросу скопил в поле целую охапку овса для своих одров; Нильс не мог переварить такой наглости, вцепился в чужака, и оба покатались наземь. А, ведь, все приезжие были с ножами у пояса! К счастью, Нильс Лив так

здоров
тот ст
поня
взялас
дивил
Все, ч
булоч
было
полоск
людьм
не дин
сирова
рите х

Пос
ставле
роге с
ные с
Ольбо
жение
которы
с кото
дороги
гие, т
ходи
лись п
ностях
на сев

здорово прижал своего противника, что тот струсил и запросил прощенья. Никто понять не мог, откуда у Нильса Лива взялась такая прыть, да и он сам потом дивился на себя. Ох, вот была кутерьма! Все, что нашлось с'естного в трактире, в булочной, в лавке и на соседних дворах, было с'едено, и все, чем можно было по-полоскать горло, было выпито в тот день людьми, лошадьми и зверями; да оно и не диво, раз каждый слон в два приема сглатывал себе в брюхо по целой коврице хлеба. Но об этом подробнее после.

Постоялый двор был таким образом поставлен вверх дном, но и на проезжей дороге суматоха была не меньше. Любопытные с утра толпами валили к северу по Ольборгской дороге, откуда шло все движение и ожидался караван зверинца. Некоторые доходили до Кузнецова холма, с которого был виден изрядный конец дороги, пролежавшей по долине, а многие, в особенности люди помоложе, проходили и всю эту долину и останавливались на сторожевом посту на возвышенностях, с которых открывался вид далеко на север. По всей долине были разброса-

ны кучки народа. Почти по самой середине ее, отмеченной верстовым столбом, собралась густая толпа обывателей Кельбю, решившихся тут дожидаться каравана.

Наконец, он показался, и большинство зрителей было сразу так поражено зрелищем, что забыло, как и когда собственно началось все. Положительно никто и оглянуться не успел, как один диковинный фургон стал выкатываться за другим. Дорога была как будто та же самая, и мельница на пригорке канавы — все на своем месте, а между тем... Положим, канавы эти всегда разевали свою пасть так таинственно, словно оттуда должно было вынырнуть нечто неведомое. Бог знает, почему это так казалось; быть может, потому, что они были очень широки и глубоки и обросли цветами, непохожими на цветы, росшие в других местах, а, может быть, еще и потому, что родные знакомые места начинали тут переходить в какой-то чужой внешний мир? Как бы там ни было, сознание действительности почти покинуло зрителей, когда караван приблизился. Где и что тут было действительностью? Неужели это наша дорога? И что это, если не гигант-

ское
женн
серые
ной с
пыль
хожи
вают

К
сдела
присм
карав
ные и
духу,
размя
ну; ф
тяну
сячем
до др
был в
нагна
брала
Некот
всех н
обесси
Други
и стре
ком со

серое видение—все эти фургоны, запряженные настоящими верблюдами, эти серые слоны, хлопающие ушами величиной с мельничные мешки и попирающие пыльную дорогу огромными ногами, похожими на «баб», которыми утрамбовывают мостовую?

К всеобщему удовольствию, караван сделал привал, так что глазам удалось присмотреться к новому зрелищу. Когда караван остановился, наиболее любопытные из зрителей бросились, не переводя духу, на окрестные холмы, откуда могли разглядеть, что караван занял всю долину; фургоны за фургоном вереницей протянулись по белому шоссе, подобно висячему мосту, от одного конца горизонта до другого! Этого зрелища никто не забыл впоследствии, а на многих оно даже нагнало настоящую панику; дрожь пробежала их, и мурашки забегали по телу. Некоторые вдруг пускались бежать со всех ног и снова останавливались, словно обессиленные, поминутно вздрагивая. Других одолевало чрезвычайное усердие и стремление поделиться вестью о великом событии с другими, хотя те, раз-

умеется, отлично видели все это сами. И вот, люди, побледнев и словно охваченные недугом, на перебой делились друг с другом одними и теми же замечаниями и открытиями. Происходили удивительные сцены. Некоторые проявили такой пыл, какого никто в них и не подозревал и над которым потом было много смеху, когда стали припоминать все сызнова; другие разом лишились всеобщего долголетнего уважения или стали предметом злорадной жалости за то, что невзначай опростоволосились; словом, не всем поздоровилось от этих излишних чувств, которые, так сказать, открыли людям глаза на то, чего собственно стоят они сами и их ближние.

Нашлись и такие, которые ухватились за случай попользоваться блеском, окружавшим караван, и кичливо задрали носы кверху, между прочими Мортен-«берейтор» *). Это был малоземельный крестьянин из Страндгольмской стени, почти карлик, который, разумеется, никогда не был берейтором. Жалкое положение этого человека всегда находилось

*) Наседний.

и како
тем з
своей
тен-«
купит
полдн
возмо
посуд
месте
ком, у
портр
вежли
чувств
люди
Морте
жил до
всех и
чек со
вселе
«берей
си, хл
по мор
рашал
вал хо
он тут
лось за
это он,
бояться

и каком-то странном несоответствии с тем значением, которое он сам придавал своей особе. Раза три-четыре в год Мортен-«берейтор» заходил в местную лавку купить осьмушку кофе и проводил там с полдня, перебирая с видом знатока всевозможные предметы: веревки, жестяную посуду, бурава и пр. или просто стоя на месте в монументальной позе, с подбородком, увязшим в шейном платке,—живой портрет своего дедушки, молчаливый и вежливый, но с таким всепроникающим чувством собственного достоинства, что люди прямо-таки становились втупик. Мортен-«берейтор» всю свою жизнь служил дешевой мишенью для насмешек всех и каждого. Но сегодня этот человек совсем зарвался в безумных попытках всецело завладеть положением. Мортен-«берейтор» расхаживал, надуваясь от снесьи, хлопал знакомых по плечу и, усиленно моргая от прилива благоволения, обращал их внимание на караван и упрашивал хорошенько смотреть на него, пока он тут... Ну, не хорошо разве, что им удалось залучить его в свои края? Разумеется, это он, Мортен, постарался! А слонов бояться печего, они не кусаются!.

Мортен «берейтор» все терся около крупных собственников, для которых он не существовал в обычное время, но которые были теперь слишком взволнованы, чтобы догадаться отмахнуться от него. Он дошел даже до того, что фамильярно и покровительственно принялся давать советы самому старшине приходского совета, Андерсу Нильсену, указывая ему, где лучше стать, и уговаривая подойти к слонам поближе, чтобы рассмотреть их хорошенько. Чего тут стесняться! И Мортен даже взял старшину за рукав и стал легонько подталкивать к фургону, у которого стояли слоны, отправлявшие хоботами себе в рот охапки сена. Андерс Нильсен даже не знал, кто это тербит его за рукав, пока окружающие не захохотали. Тогда старшина вдруг воззрился на Мортена и вынул изо рта трубку, словно собираясь сказать что-то. Сказать-то ничего не сказал, но глаза его пронзили Мортена-«берейтора» насквозь и вынесли ему приговор. И Мортену никогда не забыли его поведения. Прежде над ним добродушно подсмеивались, как над шутком гороховым, а теперь стали смотреть на беднягу с презрительным сожалением, как на вред-

ного
получ

И

день

пока

полно

лей н

ними

гда с

серде

лен. П

ния с

вался

чтобы

го чел

кличк

этот-т

треть

дил к

того.

ко бы

прост

радн

кто на

ковые

внизу

линдр

ми кр

ного зверька, которому не в прок благополучие.

И еще один человек выдал себя в тот день головою—доктор Элькер. Все время, пока он тут жил, он выказывал мужичью полное презрение. Ни с кем из обывателей не водил он компании и встречался с ними только «на практике», причем всегда собачился, вел себя заносчиво и бессердечно, никогда и ничем не был доволен. В церковь он не ходил, на приглашения обывателей не отзывался и показывался из своей берлоги только для того, чтобы выругать какого-нибудь почтенного человека или заклеить целый приход кличкой жуликов и прохвостов. И вот, этот-то спесивец удостоил выйти посмотреть на караван, когда последний подходил к Кельбю. Доктор снизошел даже до того, что и не подумал скрывать, насколько был взбудоражен,—не меньше всех простых смертных,—и вырядился в парадный костюм, которого до сих пор никто на нем и не видел: надел желтые нанковые панталоны невероятной ширины внизу, высокий, как у факельщиков, цилиндр, длиннейшие манжеты с огромными красными запонками и взял под мыш-

ку зонтик — по-столичному! Рассказывали, что доктор был большим франтом, пока жил в Копенгагене; теперь это оправдалось на глазах у всех. Сегодня он даже попунцовел от волнения, хотя и сохранял свой угрюмый вид. Наконец-то он дождался себе подобных людей, которые могут «понять» его и утешить в его культурном одиночестве среди туземцев *). Оказалось, что доктор собирался поговорить с приезжими по-английски и показать им, что он из их круга; но его планы потерпели самое плачевное крушение. Когда караван, наконец, прибыл, доктор Элькер выступил самолично приветствовать англичан, и, разумеется, наш именитый господин не мог обратиться ни к кому иному, как к самому директору Уомбелю; именитые люди сразу, ведь, чувствуют друга. Обыватели стояли, наблюдали и слушали, а потом рассказывали, что доктор в самом деле улыбался так сладко, словно собирался излить всю свою годами накопленную вежливость, когда раскланивался и готовился заговорить на чужестранном языке. Теперь-то уж всем обы-

*) Коренные жители.

вателя
ред и
словно
бы!—
смотре
соты с
ни сл
Элькер
да про
был н
и увид
белел
годил
ниже
взглян
обвари
по-дел
Когда
бю, зр
ди ком
мальчу
гах од
ский
сик. Эл
лами
лажнич
тут слу
Кельбю

вателям оставалось только пасть ниц перед ним и преклониться! Но Уомбвель словно и не заметил нашего доктора; еще бы!—он был верхом, был сам Уомбвель и смотрел этак мимо, через все головы, с высоты своего величия. Вот он и не ответил ни слова; видно, не нуждался в докторе Элькере. На-те вот, какой грубиян! Взял да проехал себе мимо, а его конь тоже был несловоохотлив. Тут-то окружающие и увидели, что доктор Элькер сам весь побелел в лице, до чего бывало частенько доводил своих пациентов; стал тише воды, ниже травы и сошел с дороги, не смея взглянуть ни на кого. Его словно варом обварило, и все находили, что так ему и по-делом, по-делом!

Когда же караван двигался через Кельбю, зрители с изумлением усмотрели среди команды три знакомые лица, трех мальчуганов, восседавших на ваге, в ногах одного из кучеров. Это были: докторский Эйнар, Беригард Лундгрэн и Нильсик. Эти три смельчака сидели себе за крупами колоссальных ломовых лошадей и лажничали: дескать, знай наших, и мы тут служим! Они и не подумали слезть в Кельбю, но остались на своем посту, от-

куда смотрели вниз на зрителей и ма-
ма с таким равнодушием, словно никогда
и не видели их раньше. Многие собаки,
любившие мальчиков, делали радостные
попытки приблизиться к ним, но тщетно;
их так и не захотели узнать, даром, что
они чуть не вывихнули себе все кости,
вилья хвостами и, в припадке отчаяния,
сильясь подпрыгнуть до высоты, на кото-
рой восседали их друзья.

Караван вышел из поселка, и мальчу-
ганы с ним. Во время новой короткой ос-
тановки они успели сбегать домой за сво-
ими камышевыми тросточками со свинцо-
выми наконечниками, а докторский Эй-
нар, кроме того, захватил деньжонок и
походную фляжку с нашатырно-анисовым
сиропом от кашля да купил себе в лавоч-
ке леденцов на дорогу. Был также уста-
новлен факт, что Эйнар, как ни в чем не
бывало, болтал с кучером по-английски, и
обыватели, интересовавшиеся мальчуга-
ном, сразу при этом почувствовали, что
он, того гляди, ускользнет от них. Трое
юных искателей приключений даже не
оглянулись, выезжая из Кельбю и напра-
вляясь к югу по Гробельской степи.
Многие были поражены таким загадочным

пове-
дать
ли ус-
садку
предо-
ловы.

Ме-
ринце
прост
долин
разум
и мла
дорог
ошел
ший
чувств
нутым
не со
жалки
шива
еще н
графо
нет л
собны
щую
ужаса

*)
и семье

поведением мальчиков, а те не пожелали дать никаких объяснений, но не замедлили усвоить себе деловито-сутуловатую посядку иностранцев и покинули поселок, предоставив обывателям ломать себе головы.

Между тем, близкие отношения со звериным завязались у мальчиков весьма просто. Вся местная школа собралась в долине встречать караван; старший класс, разумеется, отдельно, в одной из канав, и младший тоже отдельно, по ту сторону дороги. Караван произвел на школьников ошеломляющее впечатление. Даже старший класс со всеми своими заслугами почувствовал себя как бы окончательно скинутым с мировых счетов. Никогда прежде не сознавали они, насколько становятся жалкими и ничтожными там, где не спрашивают их внутренних достоинств, куда еще не дошла их слава школьных каллиграфов *) или уличных прашников, и где нет людей, достаточно сведущих и способных дать каждому из них надлежащую оценку. Да, всякого рода ценности ужасающе понизились; кто из школьни-

*) Каллиграф — человек с красивым почерком, искусный в письме.

ков мог теперь без едкой горечи вспомнить о том, как кичился своей коллекцией пугалищных или осинных гнезд, или своим большим финским ножом? И, что еще хуже, сегодня было поставлено на карту самое достоинство личности: у ребяташек, как и у взрослых, самым роковым образом раскрылись глаза на всемоделешные облики свои и своих товарищей, и многие после этого общего крушения прониклись друг к другу холодностью, от которой уже так и не могли больше отделаться. Но нашлись и такие, которым довелось как бы впервые прочесть чувство беззаветной преданности на худенькой веснушчатой рожице приятеля и привязаться к нему еще пуще. Дружба Эйнара и Бернгарда выдержала испытание, и, кроме того, в их союз был включен теперь Нильсик.

Нильсик был, подкидыш, приходское детище, круглый сирота. В раннем возрасте мальчика только терпели, так как нельзя же было утопить его или сжечь со свету каким-нибудь иным способом. Когда же он дорос до школьника, на него смотрели свысока, но не обижали его, так как он от природы был олицетворенно

прит
улы
лейн
Сего
но д
но с
ми
он б
ных
сапо
ной
ру п
сик
взро
ние
в сво
глаз
шей
что
но—
ведь,
обсто
Зато
пож
не о
был
шало
никт

приветливостью. С губ его не сходила улыбка, и он так искренно радовался малейшей безделице, которую ему дарили. Сегодня и он явился встречать караван, но держался несколько особняком, отлично сознавал, что ему не тягаться с другими мальчиками по части одеяния. Одет он был, однако, по-праздничному: в длинных штанах и в большущей фуражке, в сапожках с голенищами и в перелицованной куртке; все это были подарки—с миру по нитке. Всем своим обликом Нильсик представлял миниатюрную копию взрослого крестьянина, карманное издание хуторянина, и чувствовал себя вполне в своей тарелке, даром что его светлые глаза еле-еле выглядывали из-под с'езжавшей на лоб фуражки. Правда, он сознавал, что пуговицы приходились у него неладно—на левом борту куртки—она была, ведь, перелицована,—но надеялся, что это обстоятельство пройдет незамеченным. Зато обувь чрезвычайно смущала его. Сапожки были чудесные, с голенищами, и не очень поношенные, но правый носок был немножко тупее левого, и это нарушало симметрию. Кроме самого Нильса, никто на белом свете и не подозревал об

этом из'яне, но он-то полагал, что весь народ со зверинцем вкупе собрался тут ради того лишь, чтобы раскрыть столь печальное обстоятельство. Поэтому мальчик все время сидел на траве, поджав ноги, и, пока сидел так, посматривал себе довольно беззаботно. Но его все время колола мысль, что все увидят его сапоги, едва он встанет и пойдет. А ему пришлось-таки встать, когда подошли слоны. Но тут он и забыл про сапоги. Пока все были заняты осмотром слонов, которые затихивали в себя сено охапками, словно были еще не вполне набитыми чучелами, к Нильсу подошел Эйнар и сразу проникся к нему особою приязнью. Приходское детство, как бы собранное по кусочкам чужими милостями (даже руки и лицо Нильсика казались красивыми подарками), стояло и радовалось так беззаветно, как никто другой. Все остальные мальчики пасторожились и крепились, преисполненные сотней посторонних соображений, как и взрослые, которые принимали все более и более скорбный вид; их снедали разные тайные желания при виде всего этого нового, невиданного, но признаться в этом, или поддаться таким чувствам никому не

хотел
досто
было
ими
искре
радо
трепе
вкру
щест
тивне
взгля
метно
птен
кто-н
нялся
ему
встре
в огр
вое
в соз
кус
сказ
ски
Ко
из к
рень,
помр
на к

хотелось, чтобы не уронить собственного достоинства. Нильсику, напротив, терять было нечего; вот он и не боролся со своими чувствами, одинокий и счастливый, искренний человек! Он себе стоял и радовался в сторонке, улыбаясь и весь трепеща, переживая все происходившее вокруг, отражая его и лицом, и всем существом своим. Руки мальчика инстинктивно повторяли каждое схваченное взглядом движение и все время чуть заметно трепыхались, как два крыла у птенца; коленки двигались в такт, едва кто-нибудь проходил мимо, и он не стеснялся улыбаться во весь рот всему, что ему нравилось, летел всем сердцем навстречу каждому новому чуду. Стоя тут, в огромной, не по голове, фуражке, это живое подобие мужичка, всецело ушедшее в созерцание, чувствовало себя как бы фокусом всех событий, каким-то королем сказочного царства, где все существа детские счастливы и малы.

Когда караван выстроился в путь, один из кучеров, черномазый, ласковый парень, крикнул и поманил детвору с умопомрачительной высоты своего сиденья на козлах. Школьники потупились и сде-

дали вид, будто ничего не видят и не слышат. Но докторский Эйнар, научившийся по-английски от своего отца, живо сообразил, что кучер не спрашивает их. «Чьи они отцы», и не дразнит их тем, что «нос у них кожаный», словом, не отпускает на их счет шуточек, которыми взрослые любят смущать ребятишек. И вот Эйнар решил броситься навстречу новому знакомству и увлек за собой Бернгарда. Но, взобравшись с приятелем на козлы, Эйнар увидел Нильсика, топтавшегося внизу в полном умилении от счастья, выпавшего на долю этих двух, поманил его и тоже втащил на козлы. Вот как это вышло.

Теперь они катили по степи в таком настроении, которое находилось по ту сторону всего изведанного, превосходя блаженством всякое воскресное и даже рождественское. Мальчиков просто-напросто унесли с земли в новый, восхитительный грандиозный мир. Фургон, на который им посчастливилось попасть, был машиной дерзновенной величины и необычайной прочности; он напоминал поставленный на колеса длинный узкий дом, но без окон и слуховых окошек. Это

была, одной ла теи фургона, то лот. Это блобычаи чудовигона в цепях, са на таких обзоритащид этот флись с гигантчиной зверям в хвост очень пых да ба, и коши мал ра стеклават. Р

и ше
аучив-
живо
ет их.
ем, что
пуска-
взрос-
от Эй-
новому
нгарда.
козлы,
шегося
ья, вы-
нил его
это вы-
таком
по ту
восходя
и даже
осто-на-
осхити-
он, на
попасть,
чины и
минал
узкий
пек. Это

была, ведь, собственно, большая клетка с одной решетчатой стороною, которая была теперь закрыта ставнями. Все в этом фургоне было грузно и солидно—и дышла, толстые, как балки, и вага, и вальки, и лошади сверхъестественной величины. Это были английские тяжеловозы с необычайно могучими ногами, настоящие чудовища. За одним из задних колес фургона волочился маленький тормоз на двух цепях, который подкладывался под колеса на остановках при под'еме на гору. И таких огромных фургонов тянулась необозримая вереница. Некоторые из них тащили слоны, некоторые верблюды. Но этот фургон, в котором, говорят, помещались одни львы, был запряжен четверкой гигантских лошадей и превосходил величиной все остальные. Кроме фургонов со зверями, было много других, жилых. Там, в хвосте каравана двигалось несколько очень больших фургонов, приспособленных для проживания директора и его штаба, и эти фургоны были невиданной роскоши и великолепия. Сам Уомбвель занимал раззолоченный фургон с зеркальными стеклами, в котором было несколько комнат. Роскошнее же и дороже всех был са-

мый последний фургон, отведенный знаменитой королеве львов мисс Алисе, о которой афиши возвещали, что она войдет одна в клетку с пятнадцатью львами. Этот фургон был весь из зеркальных стекол, вставленных в резные золоченые рамы,—настоящая триумфальная колесница тысячной стоимости, запряженная четверкой белых молодых кобылиц с розоватыми мордами и светлыми гривами, таких сдобных и белотелых, что твои девки. Мисс Алиса еще оставалась невидимкой для всех, так как все стекла ее триумфальной колесницы были задержаны алыми шелковыми занавесками.

От Кельбю до Гробёлле всего полторы датские мили. Но приходится делать большой крюк, почти прямой угол, так как надо переезжать реку по мосту, а он в стороне. Первая миля тянется по степи, которая налево представляет необозримую низину, сливающуюся с полосой Лимф-орда и противоположным его берегом, а направо вздымается в виде огромного нагорья со множеством курганов и упирается в небо Гробёлльским степным кряжем. Это длинное нагорье мощно выделяется своей темной окраской, испещренной зо-

лотист
ше д
мый
вилы
душно
го не
этим
древн
протя
Но ст
бы оч
пряны
кой р
Мес
знако
они е
ного
кучи
будто
путни
жалки
защел
сдела
тов. П
сел, т
сигну

ый зна-
лисе, о
она вой-
львами.
ных сте-
енные ра-
лесница
и четвер-
озоваты-
и, таких
и девки.
ндимкой
триум-
уты алы-

полторы
ать боль-
к как на-
он в сто-
тепи, ко-
озримую
и Лимфь-
ерегом, а
иного на-
упирает-
кряжем.
иделяется
енной зо-

лотистыми блестками дрока; на нем выше двух десятков крупных курганов; самый высокий из них в середине,—правильный, крутой могильный холм, воздушно вырисовывающийся на фоне синего неба и белоснежных облаков. Под этим курганом, говорят, погребен был в древности конунг *). Теперь по степи протянулась белая ровная линия шоссе. Но стоит перепрыгнуть через канаву, чтобы очутиться в дикой степи, разливающей пряный аромат своей разнообразной мелкой растительностью.

Местность эта была трем мальчуганам знакомее знакомого, но сегодня, когда они ехали так важно в центре великолепного каравана, и степь, и холмы, и даже кучи щебня смотрели по-новому,—как будто затуманились тоской, глядя вслед путникам, и показались последним такими жалкими, заброшенными, что у них сердце защемило от невозможности что-нибудь сделать для бедных покидаемых предметов. Вон на дорогу выскочил заяц, присел, наострил ушки и вдруг испуганно сигнул через канаву и исчез между хол-

*) Вождь, король

мами. «И не диво, что он испугался». — думалось мальчикам, провожавшим его с тайной симпатией и жалостью, пока он не скрылся из виду. Ведь, что значил этот простой туземный зайчишка в сравнении с благородными обитателями зверища? И мальчикам стало больно за своего зайку, — такого взъерошенного, захудалого и бескорыстного.

Тоска расставания чуть было в конце не испортила восторженного настроения мальчуганов. Их сердца льнули даже к бедной одинокой корове, пасшейся на привязи у канавы и усердно что-то жевавшей, хотя ни один человеческий глаз не мог бы открыть тут и подобия травы; корова смотрела на мальчиков так невинно, несла свою худобу так безропотно, словно это и был ее вклад в сгинувшие летнего дня.

Далеко в степи ютился один жалкий бедняк; всеми презираемый и почти забытый, он тридцатый год возделывал свой жалкий степной участок. Сегодня и он вышел к дороге, чтобы взглянуть на караван. Обросшее лицо степняка как-то странно передвигивалось, словно вид этого бесконечного богатства ослеплял его и

он не в состоянии был осмелить зрелища. Жена бедняка стояла в почтительном отдалении, вязала чулок и поглядывала не на огромную вереницу фургонов, но на него, на мужа и господина своего, от которого зависело — на что ей смотреть и что думать. Еще подальше, из кустиков вереска, выглядывали три-четыре лохматые головенки ребятишек, не смевших подойти ближе. Кельбюйские мальчишки никогда не вступали с этим степным жителем ни в какие сношения, если не считать того, что однажды, когда он показался в поселке, они довели его до белого каления разными нехорошими кличками и швырянем в него торфяными комками. А детей его они всего охотнее затравили бы, то-есть не тронули бы их пальцем, погнали бы, гнали по степи, пока те не свалились бы, высунув язык, и — дух вон! Теперь же мальчишки почувствовали, что были несправедливы к степняку, и им становилось больно смотреть на головенки, выглядывавшие из вереска и не смевшие приблизиться.

Но когда юные путешественники отошли еще подальше и оставили позади последние места, еще отзывавшиеся чем-

то родным, все эти щемящие сердце ощущения исчезли, уступив место беззаботному веселью. Языки у мальчуганов опять развязались, и глаза разгорелись. Дорога была им уже незнакома, и это поддерживало их радужное настроение. Эйнар угостил товарищей леденцами; Бернгард сразу запихал себе в рот пару, Нильсик же сначала благовоспитанно отнекивался, — совестно, мол, — а потом взял один, в виде рыбки, прозрачной, как хрусталик. Эйнар предложил и кучеру, и, к радости мальчика, тот рассеянно взял и сунул леденец в рот. Вообще черномазый парень как-то притих и раскис, мотал головой и сонно помахивал на лошадей вожжами, которые то и дело валялись у него из рук. И вдруг он пьяно-умильно взглянул на Нильсика, сидевшего к нему ближе всех, и, не говоря ни слова, ткнул ему в руки вожжи. Нильс взял, и кучер в ту же минуту уснул, низко свесив голову на грудь. И мальчишки словно теперь только увидели, как его одежда потрепана, а сапоги чужестранного фасона потерты и посбиты об острые камни проселочных дорог.

Однако, как бы кучер не промахнулся, гручив вожжи Нильсику! Двое других

возгорелись завистью и хотели заставить Нильса уступить вожжи; поднялся спор, во время которого было произнесено шопотом много горячих слов. Нильсик не возражал, но благородно выплюнул подаренный ему леденец, и светлая, сладкая рыбка, совсем уж отощавшая, упала на дорогу. Прodelав это, Нильсик улыбнулся товарищам, красиво подобрал вожжи своими маленькими цепкими ручонками и заулыбался еще пуще самому себе. И те двое не в силах были устоять против его улыбки, сдались.—Пусть Нильсик правит!—решили оба в один голос. Признанный в своих кучерских правах, Нильсик окончательно расцвел блаженной улыбкою, и грудь его тихо колебалась от прилива безмолвной радости. Эйнар собственноручно сунул в его улыбающийся рот новый леденец, так как у Нильсика обе руки были заняты. Он сильно натягивал вожжи гигантской упряжки, и дело шло отлично. Лошади трусили вполне спокойно, и сами поддерживали привычное им расстояние между собой и передним фургоном. Нильсик продолжал оставаться наверху блаженства, а Эйнар и Бернгард невольно преклонялись перед

ним и от души за него радовались. Кучер громко храпел, припекаемый солнцем и словно приклеенный к сиденью своим толстым задом. Из таинственных педер фургона время от времени доносилось шуршание соломы и крайне мрачные зевки и урчание,—это, давали знать о себе запертые в нем звери. Эх, ты, ну! как лихо правил этим Ноевым ковчегом по Гробёльской степи улыбающийся Нильсик, самый миниатюрный мужичок в мире

А всетаки на крутом повороте, где степь кончалась, чуть было не вышло беды. Нильсик, верно, недостаточно забрал вправо или не рассчитал длины фургона,—только одно из задних колес соскользнуло было в канаву. Все три мальчика замерли от страха, но опасный миг миновал, и они благополучно покатали дальше по широкой мощеной Гробёльской дороге. Забавно было наблюдать, как проходил это опасное место весь караван, как круто заворачивали фургон за фургоном, точно гигантский змей вдруг сворачивал в сторону. Теперь дорога протянулась ровная и белая до самого Гробёлле; колокольня и большие деревья города уже виднелись вдали.

Дорога пересекала широкую долину, простирающуюся от фьорда вглубь страны до Могольма. Река делала большие голубые излучины на светло-желтых дугах. Вдали маячила красная башня Могольма. Самая же дорога была меловой белизны, так как ее чинили, посыпая раковинками, добываемыми в придорожных канавах; тут проходило старое речное русло. Но эта белая дорога, окаймленная зеленеющими канавами, очень оживляла пейзаж. С фьорда тянуло острым запахом соленой влаги и водорослей, который так хорошо прочищает глаза.

Но всего удивительнее было то, что тут кишело столько народу! Когда караван перешел по мосту через реку и начал с небольшими расстановками подниматься в гору, люди вырастали, словно из-под земли, тысячами. Вся возвышенность от самого города и до реки была черна от народу; люди вылезали из канав, валом-валили по крутым берегам, все в праздничных одеждах, кто пешком, кто в тележке. Куда ни оглянешь, отовсюду ползли по направлению к Гробёлле освещаемые солнцем какие-то точки и кучки.

Искони крестьянская область, с холмов

которой глядят друг на друга разделенные милями могильники и сторожевые камни усопших поколений, возделанная с незапамятных времен хлебородная полоса, изрытые бока которой словно скалят зубы, обнажая белые кучи отбросов каменного века, и в крутых берегах которой все еще чудится эхо звериного рева и охотничьих рогов, побережья фьорда и степь,—словом, весь Гиммерланд выслаз сегодня всех своих обитателей. Они шли из старых окрестных городов—Коурума, Торрильда и Стенбэка, шли из вековых крестьянских усадеб с языческими названиями, служивших гнездами многим поколениям одного и того же рода, который сидел себе в них, согбенный тяжестью дневного труда, тихо, смиренно, не оставляя никакого следа в истории; все, что только могло ходить и двигаться хоть ползком, направлялось в Гробёлле, словно желая хоть разок собраться вместе и осмотреться вокруг. Сроду не видано было такого сборища, и каждый встретил тут всех своих знакомых, так как явились все—и уже выделившие своих детей пожилые хозяева, и столетние старики, и женщины, и дети, целые роды,

представленные несколькими поколениями. Даже давно удалившиеся от мира и только ожидавшие часа освобождения от плоти—и те выползли в последний раз, зябко кутаясь на солнышке, изуродованные старостью, словно просидевшие всю жизнь в глубоких погребах; и до них дошла молва, рождая в их пустых мозговых скорлупах эхо того обетования, которое они однажды унаследовали и затем потеряли из виду в течение бесконечной тьмы времен. Ну, как же им было не явиться, не собраться всем вместе один единственный раз, когда от них не требовалось, чтоб они отправились на край света узреть чудеса мира, но когда этот мир сам явился к ним!

Прием каравану в Гробёлле был, однако, оказан всею этой массою населения довольно-таки равнодушный. Фургоны были, ведь, пока закрыты наглухо, и народ держался выжидательно, с обычным, внушенным опытом, недоверием. Лишь при виде одного фургона толпа как бы всколыхнулась, почти взволновалась от удовольствия, именно при виде того, которым правил Нильсик. Мальчик восседает на козлах, весь вытянувшись в струнку, с

самым сосредоточенным видом, и нельзя было усомниться в подлинности этого мужицкого сынка, этой красивой копии хуторянина, составленной с головы до пят по кусочкам из самых неподдельных вещей! Весь приход был налицо и мог засвидетельствовать подлинность каждой вещички на нем, да, пожалуй, и самым существованием своим он был обязан целой волости, являясь кровью от общей крови, плотью от общей плоти. И вот, он сидел на козлах, улыбаясь нежной и сладкой улыбкой, будившей память о любовном шопоте, о поцелуях, срываемых украдкой за дверями... И впрямь, не взяло ли на себя это приходское детище роль ангела-посредника между строптивой мужицкой массой и зверинцем, посланцем жадного, необъятного мира? Словом, на людей нахлынуло какое-то новое настроение, у всех стало как-то легче и светлее на душе, отлегло от сердца при виде этой родной фигурки, столь уверенно правящей фургоном с рычащими львами.

Караван, проехав по городу, направился к пустырю за церковью, где в былые времена собирался тинг *), и теперь все

*) Вече.

могли видеть, как устраивается зверинец. Первый фургон обогнул всю площадь кругом и остановился, второй за ним, и так далее. Сразу можно было догадаться, что все фурунны, таким образом, охватят площадь овалыным кольцом, решетками клеток внутрь. Но на это требовалось время, так как фурунов и не счесть было, и кольцо должно было получиться огромное. Некоторые из зрителей говорили, что над ним еще будет натянута парусиновая крыша, но это казалось уж совсем неправдоподобным. Однако, привелось увидеть и это. Все послеобеденное время ушло на установку фурунов; только совсем уже вечером успели натянуть парусину и привести в порядок остальное.

Обыватели наблюдали при этом ряд ошеломляющих сцен, вещи, и гнусные и возмутительные в глазах крестьянского населения. Сроду не выдывали они, чтобы кучера так безжалостно обходился с лошадьми, как тут, и никогда и представить себе не могли столь грубого, бешеного обхождения с людьми, какое позволял себе Уомбвель со своими подчиненными. Одетый в невиданный доселе драгоценный костюм и вооруженный многосаженным

кожаным бичом, он самолично руководил установкой зверинца, воля и неистовствуя, как бесноватый, чуть что делалось не по его. Он требовал, чтобы все исполнялось мигом, с быстротой, которая крестьянам казалась прямо безбожной; они, ведь, не привыкли торопиться, и коли дело у них не спорилось, так в этом самом обстоятельстве и видели свое оправдание. Но Уомбвель, человек богатырского сложения, с глазами, готовыми выскочить от хмельного возбуждения, привык к немедленному исполнению своих приказаний и вообще признавал лишь одну скорость—вскачь—и для лошадей, и для людей! Когда фургон въезжал на площадь, лошадей гнали бичом в карьер и лишь в самый последний миг круто направляли их в сторону, чтобы они не разбились о передний фургон; так уж тут не зевай! Вплотную к предыдущему фургону каждый следующий подталкивали уже руками. Люди кидались на него, пока он еще катился, облепляли колеса, словно пчелы, хватались, за что только можно было ухватиться, и толкали изо всех сил, упираясь ногами в землю с такой силой, что кости ломало. Фургоны были тяжелые, а почва

рыхлая, и требовалось как бы пролететь с фургоном по дерну, пока колеса не успели еще завязнуть в нем. Уомбвель гикал словно сам сатана, вырвавшийся на волю, и хлестал направо и налево своим ужасным бичом и по лошадям и по людям, не разбирая. Многих из крупных крестьян-землевладельцев, тоже умевших заставлять других слушаться себя, прямо коробил этот дерущий глотку палач, и их так и подмывало грузно и медленно, но с непреодолимым достоинством, выступить вперед и воспретить это зверство.

Но тут с ними приключилось нечто неслыханное, о чем они никогда впоследствии и не упоминали в разговорах и чего никогда не могли даже осмыслить хорошенько. Один фургон завяз-таки в дерне одним колесом и никак не поддавался, сколько ни тянули его тяжеловозы, чуть не распластываясь от натуги, и сколько люди ни упирались в колеса руками. Их отчаянный рабочий припев звучал под конец настоящим предсмертным воплем, а Уомбвель так и бушевал, неступленно вопил и описывал в воздухе бичом свистящие круги—символы бесконечности. Вдруг взгляд его упал на кучку рослых

здоровенных людей, что называется в самом соку, с сытым видом посасывающим свои трубочки. Это были сливки гиммерландских земельных собственников, и вдруг над их неприкосновенными шапками тоже засвистели символы бесконечности! Уомбвель обрушился на туземцев со всей звериной энергией своего гигантского существа, изрыгая потоки чужестранных слов, дышащих ядом и серным пламенем, потом схватил за плечи одного—самого Томаса Спангдора!—и швырнул к фургону, затем другого—Андерса Нильсена!—третьего—Граве Свенсильда!.. И никто спомниться не успел, как вся гиммерландская мужицкая аристократия вцепилась в завязшие колеса и налегла на них с таким усердием, словно дело шло о жизни или смерти! Силы у этих молодцов были медвежьи, и им, с сердцов на подобное обращение, вдруг захотелось показать себя. Посинев с натуги и стиснув зубы, они уперлись сапожищами в землю, Уомбвель запикал, замолотил бичом по лошадям, и—фургон влетел на свое место под дикий рев зрителей! К счастью, положение было покрыто криками «ура», не то гиммерландские здоровяки землевладельцы не

знали
подви
шел
горлас

Мно
шеной
и дом
гонах,
лоса;
вель
до хо
в тот
нец, з
ход.

внуск
блюда
ное, з
показ
ды и
ве ца
риала.

В п
особо
выдви
новка
барди
тельск

тся в са-
гвающим
гиммер-
иков, и
палками
ечности!
со всей
кого су-
транных
паменем,
—самого
фурго-
ссена!—
никто
ерланд-
длась в
с таким
ни или
ли мед-
ное об-
ь себя.
ы, они
мбвель
ям, и—
дикий
е было
иммер-
ы не

знали бы, куда и деваться после такого подвига. Как все это вышло? Как он обошел их, взяв над ними власть? Что это за горластое исчадие ада?!

Много фургонов поломалось в этой бешеной скачке; вальки и дышла трескали и ломались, а звери, заключенные в фургонах, паралили стены и выли на все голоса; было чего перепугаться! Но Уомбвель гнал во всю. Он во что бы то ни стало хотел открыть зверинец для публики в тот же вечер. Кольцо из фургонов, наконец, замкнулось, оставив свободным проход. Казалось бы, и ладно; тут бы и впускать публику. Не тут-то было! Наблюдателям представилось еще одно мощное, захватывающее зрелище: им были показаны в буквальном смысле чудеса силы и роскоши, для которых исполнители не щадили ни живота, ни труда, ни материала. Был воздвигнут особый портал!

В проход вкатили огромный фургон особой конструкции—с раскидными и выдвижными боками и крыльями. Установка его, однако, напоминала скорее бомбардировку, пушечную пальбу, неприятельский обстрел, чем работу мирных лю-

дей. Уомбвель окончательно вышел из себя, бесновался, как одержимый, ревел во все горло, рвал и метал; зато и люди его проявили умопомрачительную быстроту и натиск; подобное напряжение человек может выдержать всего несколько секунд, да и то у него дух спирает, а из глаз искры сыплются; но в эти несколько секунд портал и был воздвигнут! Совершилось это с помощью блоков, канатов и длинных шестов; крылья откидывались и моментально подпирались снизу шестами, которыми команда орудовала на-лету. И в то время, как крылья раскрывались и опускались вниз или взлетали кверху, портал раскрывал свой внутренний мир роскоши, позолоты и картин под треск драгоценной резьбы и ломавшихся украшений, отлетавших в стороны или с визгом взвивавшихся в воздух. Когда же портал раскрылся окончательно, с треском и блеском гигантского тропического цветка, над входом засияло окруженное причудливыми арабесками и золотыми завитушками огненное имя У о м б в е л я, а также два ярко освещенных портрета—его самого направо и мисс Алисы, в полуголом виде,—налево. На мгновение воцарилась полная

тишине
хавша
сом и
ла ду
ся. Уо
фальс
оттуда
опроки
всех, с
всем у
с сам
не бы
да, ви
бегу,
тяжел
ся хри
воздух
натяну
ским о
шла л
нее по
лась д
скупил
пригот
с живе
счет вр
Почт

л из се-
ревел во
юди его
ыстроту
человек
секунд,
лаз иск-
секунд
ошилось
лильных
момен-
и, кото-
И в то
опуска-
портал
скоши,
ценной
отле-
звивав-
аскрыл-
ком ги-
д вхо-
тивными
ми ог-
за ярко
напра-
е,—на-
полная

тишина; еле державшаяся на ногах запыхавшаяся команда, подавшись всем корпусом вперед и вся дрожа, тяжело переводила дух. Но недолго дали ей прохладиться. Уомбвель на минуту скрылся в триумфальной колеснице мисс Алисы и вышел оттуда, обсасывая губы, словно после опрокинутой рюмочки. К изумлению всех, считавших его за минуту до того совсем умалишенным, он выступал теперь с самым спокойным видом, как ни в чем не бывало. Но в следующий момент, когда, видно, вкус во рту прошел, он с разбегу, как пловец, нырнул в толпу своих тяжело дышащих людей и опять разразился хриплым ревом, а бич его взвился в воздухе летучей змеей. Теперь надо было натянуть парусину над всем этим гигантским овалом из фургонов. И хотя работа шла лихорадочным темпом, времени на нее потребовалось немало, и она затянулась до самого вечера. Но публика не соскучилась, напротив, следила за всеми приготовлениями и всей этой суматохой с живейшим интересом, совсем потеряв счет времени.

Почти все приключения становятся «ис-

торическими» лишь долго спустя после того, как приключились. Но бывают и переживания столь яркие, что сразу овладевают воображением, и люди в самозабвении сливаются с вечностью. Так было и тут. Время замкнуло свой круг, включив в него всю эту массу людей, весь город со всеми видимыми из него окрестностями, и этот солнечный день, и необъятное небо, и «Уомбвеля», выраставшего подобно гигантскому растению в центре всего этого. Самый день был так хорош, что лучше нельзя было и желать. Пригородные поля стояли в полном цвету, простираясь вдаль, насколько хватал глаз. И там, далеко-далеко, где солнце сливалось с землею в зеленоватом сиянии, земля цвела, и пышные нивы колыхались, как живые, точно так же, как здесь, на склонах Гробёлле, где зеленеющие поля блестели на солнце своими шуршащими колосьями и синими и красными головками цветов. Небо вздымалось такое беспредельное, облака громоздились в снежные горы, чуть не достигая зенита небесного купола, несказанной синевы и глубины. На западе столнии и снопы солнечных лучей пробивались сквозь муть облаков, на востоке же тяну-

лись на много сотен миль высокие тусклые облачные горы, обращая к солнцу свои безжизненные, как бы слепые, лики. Фьорд с зеркальными заливами и синеющими проливами уходит вдаль, где все суживалось и тонulo в тумане.

Но вот стемнело, и в воздухе повеяло прохладой; солнце закатилось. Балаган зверища был совсем готов. И что за балаган вышел! То был скорее ко в ч е т, выброшенный на Гробельскую отмель, мощный корабль Божьего человека, давший убежище всему живому! Послушать только хор зверей и всех этих диких тварей! Не такое же ли наводящее жуть приветствие неслось к солнцу в то весеннее утро на Арарате, когда над землей перекинулась радуга? И вдруг, мощный купол балагана загорелся! Настоящая огненная гора. Внутри балагана зажгли фонари и факелы и одновременно отняли ставни от звериных клеток, откуда вырвался тысячесложный рев и вой ослепленных и раздраженных диких зверей всевозможных пород и видов. Затрещали ракеты и бураки, над порталом взвился к небу и рассыпался целый свой огненных лучей, в тот же миг грянул оркестр духовых пи-

струментов с барабаном и оглушительный пушечный выстрел,—Уомбвель открыл свой зверинец для публики! Было же это почти в десять часов вечера.

Началась давка. Только не сразу. В первые минуты никто не шел, и Уомбвель, сам продававший билеты, готов был лопнуть с досады и разочарования. Перед зверинцем ступила толпа в несколько тысяч человек, и ни один и виду не подавал, что намерен посетить балаган. И вот, великий человек, одиноко стоявший в портале, сделал широкий приглашающий жест, согнувшись в три потибели,—то-есть в некотором роде виляя хвостом!—в знак мира и радушного привета. Никто не двинулся. Уомбвель вспыхнул, потом побледнел и, так меняясь в лице, прокричал что-то, причем голос его переломился на высокой ноте, на манер плача. Увы! Ты забыл, Уомбвель, что имеешь дело с ютландцами! Никто не хотел войти первым, никто не хотел взять на себя п о ч и н. Мужчины, покуривая трубки, жались друг к другу, образуя компактные кучки, в которых личность исчезала. Женщины держались позади, неподвижные, как столбы, добродетельно сложив руки на животах,

словно перед входом в церковь. В портал вела, ведь, лесенка,—кому же охота была рискнуть показаться там первому, стать на виду у всех, выступив из-под надежного прикрытия толпы? Никто не рисковал, никому не хотелось взять на себя ответственность почина. Тут, ведь, не полагалось ввалиться гурьбой, как они привыкли поступать, когда надо было войти в двери.

Положение грозило стать невыносимым, как вдруг потупленные, но всевидящие глаза толпы узрели кого-то на лесенке. Кто-то уже поднимался первым! И не один, а целых трое! Три худеньких мальчугана, отчаянно сторбясь, семеня по ступенькам,—дескать, была-не-была: войти и взглянуть на зверинец или умереть! Это была тройка мальчуганов из Кельбю: докторский Эйнар, Беригард Лундгрен и Нильсик,—чортовы сорванцы! Нильсик шел во главе тройки, весь трепеща от оживления. Во второй раз сегодня юное детище прихода прокладывало обывателям путь к чуду. За тройкой повалила и вся толпа силошной и черной массой. Вот когда и началась давка! Одно время даже жутко стало: слышались не-

складные проклятья, столь долго закусывавшие глотки, и странные, незаученные взвизгивания женщин, сдавленных в толпе. Но балаган был достаточно просторен и мало-по-малу поглотил всю эту массу.

Эйнар, Беригард и Нильсик вошли в зверинец первыми. Дерьн отливал каким-то диковинным ядовитым блеском при свете дико пылающих керосиновых огней. За всеми решетками беспокойные фигуры и тени, звериные морды, желтые шкуры, огромные влажные глаза, неукротимо разинутые пасти; всюду урчание и медленное, тяжелое хлопанье веками, всюду неустанное перебирание мягкими лапами по опилкам, и какой печальный запах! Балаган был насыщен ароматом хищной знати, болезненным и недобрым запахом, столь же зловещим, как воздух в покойницкой, где сладкий кадильный ладал и чад восковых свечей заглушают трупный запах. Мальчики не сразу отважились подойти к клеткам вплотную, но держались по средине дернового круга, дрожа от возбуждения; им, с их чувствительной кожей и изощренными, как у первобытных народов, чувствами, казалось, что они попали в самое дерьмо. Громоподобное ры-

вание львов чуть не укладывало их плашмя на землю. Но скоро они попривыкли и поняли, что звери занерты, так что можно спокойно подойти к самой решетке и сквозь нее смотреть прямо в огромную морду королевского тигра. И вот, они отдались этому своему первому, никогда не превзойденному и полному новых открытий, странствию. С широко раскрытыми глазами окунулись в мир чудес, вечно существующий и вечно теряемый, в мир взаимоотношений природы и человека.

Представление длилось два часа, то есть публике в течение двух часов было предоставлено бродить по зверинцу и обозревать животных. Публика же собралась в тот вечер в Гробёлле самая что ни на есть благодарная; эти люди не были пресыщены ни лекциями по естественной истории, ни пикниками в зоологическом саду. И воспринимали предметы с домашней и весьма верной точки зрения, отправляясь от знакомого к новому путем опыта, который никогда не заведет человека в дебри. Сам Дарвин *) был, ведь, из та-

*) Дарвин — английский ученый, написавший книгу о происхождении разных видов животных.

ких, великий и простодушный сын народа, по кошке выводивший заключения о тигре и наоборот. Ни дать ни взять Эрик Сёренсен из Коурума!

— Да это же наш Васька!—сказал Эрик, стоя перед тигровой клеткой.— Только сил больших набрался от хорошей жизни.

Тот же Эрик рассудил, что слон—род огромного борова; навел его на такое соображение тапир. Ну и, конечно, отчего тут не порассуждать? Не в церкви, поди! Тут люди вращались в мире собственных представлений и были не прочь раздвинуть его пределы. Особенно живо интересовали их такие животные, как зебра и осел, своим сходством с лошадьми. А осла Эрик пожалел.

— Вишь ты, хвост-то у него коровий!—поспешил он заявить, глядя на осла.— Жаль бедняка! Не он в том виноват. И какой вислоухий! Видно, что терпеливый.

Большое внимание возбудила также корова с кличкой гн у. Некоторые, впрочем, стояли за то, что это—рогатая лошадь. Соображению, что это особое животное, сродни и корове и лошади, неоткуда бы-

ло
по
и
гр
ки
оха
ка
ме
ро
си
пр
I
пр
ло
жи
вы
жа
хи
сы
со
вд
ви
З
мо
ст
сво
ма
на

ло взяться. В каждом животном оленьей породы обыватели видели «тёлку», в чем и не ошибались. Змеи сильно захватили гробёльских зрителей, как и всех близких к природе людей, но они не сумели охарактеризовать этих чудовищ иначе, как громадных страшнейших гадюк. К медведю, играющему такую большую роль в народных сказках, отнеслись с симпатией, но старого знакомого в нем не признали.

Во время кормления зверей публика пришла в умиленное настроение. Это было дело знакомое, сразу возбуждавшее ее живое сочувствие. Крестьяне сами призывали кормить и питать животных. И они жалостливо смотрели, как эти огромные хищники с заплаканными мордами набрасывались на жалкие ломти мяса, которые совали им на вилах в клетки. Сторожа вдобавок били зверей этими длинными вилами. Зачем? Для какой надобности? Звери едят смиренно, и как раз в это время можно сдружиться с ними. Даже царственный лев не спешивается выказать свой аппетит, лобызать грудинку, прижимать ее к себе и грозно рычать из-за нее на весь свет. И взгляд у всех зверей так

смягчается, когда они глотают пищу; даже у свирепого тигра можно уловить в глазах доброжелательство, пока он за едой забывает свой плен. А сколько ума проявляют животные во время еды! Глядят перед собою с такой сосредоточенностью, словно считают в уме, и как при этом бдительны и аккуратны. Еще бы, не шутка, ведь, сначала посмаковать корм, а потом основательно прожевать и проглотить все. Что за благодатная тишь и мир воцарились в зверинце, когда все обитатели его получили свои порции! Все умолкло и только перемалывали зубами пищу, легонько пощипывая носом и ревниво косясь на свои куски; повсюдуобщая еда и смакование. Слоны держали себя во время еды необычайно выразительно, как глухонемые, и маленькие умные глазки их ничего не пропускали без внимания. Они вовсе не были неуклюжи, всегда знали, куда ступить, и просто прелесть, как орудовали хоботом, выбирая всегда кратчайшее расстояние. Верблюды не особенно понравились публике: они немножко напоминали овец, но вообще казались какими-то несуразными, неладно скроенными. Кто-то нашел, что вер-

блюда похожи на портных; но, вероятно, он имел тут в виду какое-нибудь одно известное лицо.

Представление закончилось выступлением королевы львов, мисс Алисы. Но она не завоевала симпатий публики. Что и говорить, войти в клетку со львами—рискованная штука! И это показалось довольно занятным, но не нашло отклика в сердцах крестьян. Они неспособны были восхититься изящной дамой, вкладывавшей голову в пасть льва, и приняли этот номер молча; но когда она заставила одного из львов разлечься и сама грациозно улеглась на него, многие засмеялись. Дикий зверь—ого! всем известно, что это такое, но ручной лев—смехотворная штучка! Вот если бы львы принялись пожирать мисс Алису, это бы забрало за живое,—зрителям было бы с чем вернуться домой. Многие и шли-то в зверинец в убеждении, что она войдет в клетку ко львам именно за тем, чтобы дать себя сожрать,—так они читали афишу и потому с полным правом разочаровались. В конце концов, мисс Алиса, окруженная зверями, застыла в позе королевы, а Уомбелль мигом зажег зеленый бенгальский

огонь перед клеткой, после чего мисс Алиса, выстрелив из пистолета, живым манером выбралась оттуда. Когда же зеленый ослепительный свет погас, публика начала расходиться.

То-то говору было в народе, расходившемся кучками, то-то грохоту колес на дороге в ту позднюю светлую ночь! В числе прочих диковинок горячо обсуждался и всплывший каким-то образом факт, что Уомбвель-то проживал в триумфальной колеснице мисс Алисы, даром что они не были обвенчаны. Не то, чтобы люди имели что-нибудь против этого, но раз это запрещено, а парочка проделывает это на глазах у всех?.. Богат, должно быть, этот Уомбвель. С деньгами все можно позволить себе. Господи, и все мы, пожалуй, не прочь бы покуралесить, да больно уж люди-то мы маленькие! И обыватели со вздохами расходились во-сво-яси.

Остается только досказать о трех мальчуганах из Кельбю. По окончании представления, они живо почувствовали, как далеко забрались от дому и как проголодались. Конечно, кто-нибудь взялся бы подвезти их до Кельбю, но им не улыба-

тось сделать такой большой крюк, и они порешили пройти пешком напрямик, через луга и степь. Они вышли остатки нашатырно-анисового сиропа, от которого, странное дело, закашляли, хотя его принимают как раз при стив кашля, и зашагали каждый со своей тросточкой в руках. Усталые и безмолвные, тащились они по долине, окутанной летними прозрачными сумерками и напоенной тяжелым запахом луговых трав. У реки, такой темной, глубокой и мирной, постояли немножко. Когда же добрались до степи, на северо-востоке уже светало; тут они встре- пенулись, ожили, и им неурегулярно захотелось слазить на верхушку степного кряжа, которая всегда манила их, когда они, бывало, рыскали по степи. Пока они туда карабкались, краски ландшафта мало-по-малу загорались. Когда же солнце взошло, мальчики уже отдыхали на вереске, на вершине королевского кургана. Под ногами у них, по ту сторону степи, простиралась яркая, зеленоватая равнина; все было тихо; пышные нивы не шелохнулись. Всюду вокруг, куда ни оглянись, и далеко-далеко, насколько хватал глаз, двигались люди. возвращавшиеся

домой, крохотные, как мураши, и безгласные.

Пока мальчишки сидели там, глаза Эйнара вдруг приковались к чему-то, зрачки сузились в иголки, и он побелел, как мел. Там, в туманной дали, где кончалась всякая суша, забрезжила тонкая блестящая полоска! Это, должно быть, Каттегат. Это море! Никогда еще мальчик не видывал его до сих пор. Сейчас свет падал так удачно, что водное зеркало ярко отражало лучи и было видно за много миль. Продолжалось это всего несколько мгновений, затем полоска опять погасла. Но Эйнар не говорил другим о том, что видел. Он не находил слов. Сама судьба воззвала к нему в то тихое раннее утро. Немного погодя, он прилег, ослабевший и весь похолодевший, внутренне, точимый мыслью о королеве львов, мисс Алисе, которой ему не видать больше!..

Беригард тоже прилег; все лицо у него было в белых пятнах, и он почти не дышал. Он так отощал, что в его смиренной, убогой душе не могло родиться никакой мысли. Нильсик устремился искать ягод в вереске и все дальше и дальше отходил от товарищей, пока те его не окликнули.

Достопамятный тот день стал счастливым деньком для Нильсика. Люди заметили его и прозрели, что в этом мальчугане есть задатки. И кое-кто из зажиточных крестьян, считавших себя не чужими ему (а таких было немало,—мать Нильсика, швейка Метта, много лет бродила по всей родости со своим утюгом и пухлым ротиком, не умевшим отказывать), в складчину отдали мальчика в железнодорожную школу в Гобю, где он затем, еще в юном возрасте, и получил место при пакгаузе. Одновременно он учился музыке и стал ловко играть на флейте.

Но впоследствии, когда ему немощно стало от бесконечных денежных взысканий за «отцовство» *), он махнул в Америку, и поминай его, как звали.

*) В северных странах отцов внебрачных детей ставят платить за воспитание детей матерям или общине.

ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ.

У гробёльского столяра Андерса Эриксена много лет висела пара диковинных сапог. Они были не рантовые, не выворотные, а цельные из резины, и такие высокие, что взрослому мужчине хватали до самых бедер. Такие сапоги носят золотоискатели.

Сам столяр Андерс никогда не носил их, только ребяташки его редкий раз шлепали в них по пруду, и то не больше нескольких минут подряд; местный доктор об'явил, что ноги не могут дышать в таких сапогах. Они и пахли-то как-то странно—не то ядом, не то лекарством, и когда вода плотно обнимала свободные голенища вокруг ног, то последние ощутительно начинали «отсыхать». Вообще сапоги эти внушали к себе большое почтение. Заходя в мастерскую столяра и видя их на стене, люди невольно посылали смутную мысль туда, в широкий

свет, в те далекие края, где добывается золото, но куда не забираются порядочные люди. Случалось, что они при этом с каким-то богобоязненным любопытством осведомлялись о Лавсте Эриксене, отце Андерса: где-то он теперь, не слышал ли столяр о нем чего нового, и скоро ли станет его наследником?..

Столяр Андерс на такие расспросы отрицательно мотал головой. И понемногу все позабыли и про Лавста Эриксена и про сапоги, которые висели себе под потолком и ветшали, затянутые паутиной.

Столяр Андерс познакомился со своим отцом или, как выражались весельчаки, «обрел» своего отца на тридцатом году своей жизни. До тех пор отца как будто и не существовало для Андерса. Мать Андерса умерла, когда он был еще совсем маленьким, а тогда отца уже и след простыл. В бытность Андерса школьником, другие ребяташки побойчее любили затыкать ему рот рассказами о том, что у него был отец по имени Лавст, да сбежал от него и его матери, от дома и от всего. А когда Андерс вырос и с помощью добрых людей научился ремеслу, то привык, в знак благодарности, терпеливо выслу-

шивать рассказы благодетелей об его негодяе-отце, сбежавшем в Америку.

Андерс вообще был парень молчаливый, не злой, худой и длинный, словно весь вытянувшийся от благодарности, бледный, узкогрудый, и мухи никогда не обидел. В солдаты его не взяли—не годился. И вот, он занялся сколачиванием гробов, словно желая втихомолку выместить свою обиду на людях. Плодовит он был необычайно и, что ни год, приживал ребенка с женщиной, с которой никто другой не подумал бы сойтись.

Лавст Эриксен сам в свое время явился отпрыском подобного детопроизводства. Сначала он служил на побегушках, потом подручным, затем старшим работником и выбился-таки в люди собственным трудом. Потом ненароком соблазнил девушку и запутался. Несчастье никогда не приходит в одиночку; Лавст «полюбил» девушку, то-есть взглянул на потеху в серьез и решил нести последствия своего греха, а это—признак высокомерия, и никогда не прощается добрыми людьми, которые требуют, чтобы все вели себя одинаково подло. Лавст проявил чувство и был за это исключен из своего ессловия.

Такому отверженцу приходится начинать жизнь сызнова, и, по тогдашним временам, Лавсту оставалось одно—уйти в степь. За сто риксдалеров, сколоченных упорным трудом, Лавст купил себе участок, поросший вереском, и в одно из воскресений люди узрели его с его беременной подругой на «собственной земле»,—ни дать ни взять, благородные господа вышли на прогулку! На самом-то деле они выбирали место для постройки жилья и, к вящему неудовольствию обывателей Гробёлле, выбрали вересковый холм с «видом» на окрестности. Они словно не понимали, что им куда приличнее было бы забиться в низину, сколотив себе там, по примеру других совестливых бедняков, какую-нибудь лачугу. В течение зимы Лавст натаскал на вершину холма камней, старых бревен и досок, а весной собственноручно начал строить дом. В сущности, дом этот вышел наполовину землянкой, так как Лавст выкопал глубокую яму, выложил ее булыжником и покрыл вереском. Рядом же с этим «замком» он, по своему дурному вкусу, водрузил флагинок. Лавст купил шест на аукционе, выкрасил его в белый цвет со

спиральными красными полосами, и в тот день, когда молодые справляли новоселье в пустынной степи, на верхушке шеста трепался маленький флаг! Ну, разумеется, этого Лавсту уже не могли простить!

Теперь Лавсту и Метте-Кирстине предстояло ни более ни менее, как возделывать свой участок ручным способом, трудиться, не покладая рук, с единственной перспективой в будущем приобрести сносное жилье, пару коров, да десяток-другой овец в полную собственность. Но до того надо было прожить целый век человеческий; пока же у них в жилье не водилось даже кошки. Лавст ходил в Гробёлле на поденщину, и его заработка едва-едва хватало ему с женой на пропитание. Свободное время Лавст отдавал своему геркулесову *) труду—вскапывал степь заступом; но из этого, конечно, ничего не выходило. Тем не менее он не сдавался, и обывателей злило его упорство, а то они, пожалуй, не прочь были одолжить ему на время и плуг и пару

*) Геркулес—древне-греческий полубог, свершивший много невероятно трудных подвигов.

волов. Гордость и упорство не к лицу молокососу-нищему! И вот зажиточные хозяева бесились, глядя на него, а мелко-та ненавидела его за то, что он обособился от них. В ночь под Новый год они и сговорились в шутку снести с помощью канатов крышу с жилья молодоженов. Лавст вышел из дому и поколотил кое-кого. С тех пор Метту-Кирстину стали гнать со дворов, где она прежде получала молоко. Еще хуже пришлось им, когда домохозяева стали заявлять, что могут отлично обойтись без услуг Лавста: он так кичился своей работой, вот они и не хотели кланяться ему, чтобы он являлся к ним зарабатывать себе на хлеб насущный! Дольше всех давал работу Лавсту Фома Спанггор, но и с ним Лавст однажды повздорил, тот ему отказал, и Лавст остался со своими богатырскими руками без дела, праздным отщепенцем.

К всеобщему негодованию, Лавст сумел продержаться еще с полгода. Он арендовал участок торфяного болота за пустячную плату, так как торф этот был крайне низкого качества. Но Лавст придумал из-готовлять из него месиво, а потом прессовать в виде кирпичей, и топливо получа-

лось прекрасное. Работа была не из легких, но Лавсту удалось завязать сношения с городом, где он и сбывал свой торф по хорошей цене. Подечный заработок торфокопов никогда не превышал двух марок. Лавсту же, говорят, удавалось зашибать свыше шести. Но хозяин торфяника не потерпел этого. Он затеял дело в суде, доказывая, что Лавст имеет право копать торф лишь для собственной надобности, а не заводить тут целую фабрику. Лавст проиграл дело. Всю зиму обитатели стениной хижинны голодали. Ходили слухи, что их совсем скрутило с голодухи, одни кожа да кости остались. Из жалкой трубы хижинны с «видом» почти никогда не курился дымок. Раз в две недели, а то и раз в месяц, Лавст появлялся в мелочной лавочке и покупал фунт жиру. Да откуда брались у него деньги и на это? Он кутал свое изможденное лицо в большой шерстяной платок и ходил за четыре-пять миль, чтобы заработать мотыльбой одну марку. Видели его и на ярмарке в чужом приходе, где он продавал самодельные костяные трубочки, которых никто не покупал. На Пасху в окрестностях Грæлде появился заезжий

американский мормон *)), а весной Лавст Эриксен внезапно исчез. Люди заржали!

Для Метты-Кирстины и для мальчика дело обернулось как будто даже к лучшему. Раз этот упрямец перестал колоть людям глаза, жена и ребенок могли перейти на попечение прихода и опять пожевать хлеба. И, по слухам, попечительному совету предстало в хижине неописуемо жалкое зрелище. Метта-Кирстина, однако, так и не оправилась: ни лица, ни уход не могли поставить ее на ноги,—она умерла. Мальчик попал с публичного торга в питомцы к бедной крестьянской семье, а потом в ученье к столяру. Выйдя из ученья, он поселился в селе и успел обзавестись семьей к тому времени, когда человек, называвшийся его отцом, неожиданно опять всплыл на горизонте.

В один прекрасный день дилижанс **) высадил у постоянного двора какого-то неизвестного с сундуком, окованным железом. Никто не знал этого приезжего, и сам он никому себя не назвал. На сунду-

*) Мормоны — последователи секты, которая поощряет многоженство.

**) Дилижанс — обширный экипаж, с которым путешествуют большие партии людей.

ке была наклеена бумажка с надписью: «Red Star Line», и по совокупности всех признаков было решено, что незнакомец прибыл из Америки. Но он, несомненно, был датчанин. Приезд его вызвал в селе целую сенсацию, и его прозвали «золотоискателем». Все толковали об этом неведомом господине, который остановился на постоялом дворе и ничего пока не принимал, только сидел себе за столом да разглядывал народ. Взгляд у него был пронзительный и заставлял всех быть настороже, но в общем вид у него был мирный. Одет он был по-иностранному, но довольно неважно, и выбрит, как все, за исключением жесткого клока на подбородке. Словоохотливостью не отличался. Но вот, как-то на постоялый двор зашел один пожилой мужчина, который признал приезжего. После того всем как-то обидно стало, что приезжий не кто иной, как Лавст Эриксен, который после двадцатидевятилетнего отсутствия вернулся таки домой из Америки.

В тот же день Лавст отправился проведать сына. Встреча вышла не из трогательных. Кто-то уже побывал у столыра Андерса и сообщил ему новость, чтобы не

вышло чего-нибудь лишнего. Андерс стоял у своего станка и не оставил работы, а только быстро поднял голову и кивнул: здравствуй, дескать. Лавст Эриксен окинул взглядом мастерскую и сына и тихо произнес:

— Здравствуй, Андерс!

Андерс продолжал усиленно стругать.

— Я, ведь, отцом тебе прихожусь...

— Слышал,—поспешил сказать Андерс. И лишь мельком взглянул на отца, встревоженный чужим голосом и еще больше тем, что отец сразу заговорил так напрямик.

Молчание.

Лавст рассматривал сына, который с особым усердием обделявал доску, сдирая с нее длинные визжащие стружки.

Андерс был высокого роста, худой, с выдающимися скулами и больными глазами. Кривоногий и сутулый, с тонкой, как у ребенка, и провалившейся по середине шеей, он был похож на мать. Лавст то и дело поглядывал на него и опять отводил глаза в сторону. Оба молчали. Жена Андерса приотворила было дверь из комнаты и просунула свою нечесанную

голову в маскерную, но увидела незнакома и молча удалилась.

Молчание.

— Откуда ты берешь лес? — кротко спросил Лавст Эриксен, взглянув на кругляши и доски, громоздившиеся под потолок. Потом воззрился на особую полку, где лежали пара досок из красного дерева и несколько отрезков других благородных древесных пород, и прослезился. Андерс приостановился и проследил за взглядом отца, засунув одну руку под кожаный передник. Так он стоял долго, погруженный в думы, затем опять взглянул на отца и, умышленно придавая лицу замкнутое выражение, чтобы старик не возмечал каких-либо надежд, сказал:

— Я покупаю лес у Свенсена в Вирре-аунде.

Деревянный тон ответа глубоко поразили отца. Он постоял еще несколько минут, задумчиво переводя глаза с предмета на предмет, и жалобно произнес, обращаясь к смышлившей спине:

— Ну, да... Поговорим, поговорим, Андерс. Я полагаю остаться тут.

За дверями послышался шум, — жена Андерса подслушивала. Андерс продол-

жал с
взгля

—
Лавст
досом

Анд
тельно
сколь
всмат
но к
рям:

—
Вы
стоял
соту
куста
и сто
зад и

В т
искат
ние в
был с
рот,
даже
разны
гих о
Никто

*,

жал стругать, затем поднял доску, чтобы взглянуть—ровно ли вышло.

— Я виноват перед тобой,—продолжал Лавст Эриксен несколько дрожащим голосом.

Андерс как будто и не слышал, тщательно направляя рубанок. Старик несколько минут спокойно и внимательно всматривался в сына, наконец, решительно кивнул головой и повернулся к дверям:

— Гуд-бэй! *).

Выйдя на улицу, Лавст Эриксен постоял еще с минуту, смерил на глаз высоту жилища сына, оглянул два толых куста крыжовника в «саду» и шток-розы у стены дома, затем быстро зашагал назад на постоянный двор.

В течение следующих месяцев «золотискатель» вносил значительное оживление в среду обывателей. Не то, чтобы он был особенно весел сам по себе,—наоборот, от него трудненько было добиться даже «да» или «нет»; но он отличался разными странностями, которые во многих отношениях занимали окружающих. Никто никак не мог разобрать—есть ли у

*). Английское слово „good-bye“ (прощайте).

него средства? Он, правда, не шикарил, но разве это мешало ему быть человеком состоятельным? Руки его огрубели от тяжелой работы, и он не мог вполне расправить ладони; видно было, что они так порботали на своем веку. Но сам он был еще крепыш, что твой палач, только волосы уже побелели.

Недели через две по приезде Лавст Эриксен стал ходить на работу. Он был мастер на все руки, но отличался несчастной страстью исправлять и переделывать орудия и пробовать все новые приемы работы. Все было не по нем, и все шло недостаточно живо для него. Чуть ему давали волю, он возил навоз галоном, а пахал так, что из-под плуга летели искры; вечно торопился, как на пожар или за повивальной бабкой, и все над ним потешались втихомолку. Вдобавок он был невероятно угрюм и резок без всякого к тому повода, — никто и не думал перечить ему; и это тоже давало пищу насмешкам. Окружающие передразнивали его манеру отвечать, огрызаясь; и в приходе надолго завелась мода переважно лаять сквозь зубы «нау» *) в ответ на вопросы. Заме-

*) Английское слово „no“, т. е. нет.

тив, что
кнулось
зумы
искате
научил
жели
лось с
среди
лотойс
торый,
(надо
сверка
рево, с
щик р
пуская
сто, ка
очевид
мудрен
бывать
ки, вве
ходе, и
золото
венны
оказало
стреля
приман
и много
«заклин

икарил,
овеком
от тя-
распра-
таки-
он был
о воло-

Лавст
он был
есчаст-
львать
риемы
е шло
му да-
ом, а
искры;
за по-
отеша-
неве-
к тому
ь ему;
Окру-
ру от-
адолю
зь зу-
Заме-

тив, что его считают чудаком, он замкнулся в себе еще пуще. Более благоراضные люди, однако, питали к «золотоискателю» уважение. Видно было, что он научился в Америке куда большему, нежели показывал. Кому-то раз понадобилось свалить высокое старое дерево, и среди зрителей случайно оказался «золотоискатель». Он тотчас взял топор, который, разумеется, нашел негодным, и (надо было видеть его в эту минуту!), сверкая глазами, принялся обхаживать дерево, орудуя топором, словно фехтовальщик рапирою, становясь в позиции и пуская в ход всякие уловки. Чудо просто, как он орудовал! Он был сметлив и, очевидно, присматривался ко всяким мудреным штукам повсюду, где успел побывать. Новый способ завязывать веревки, введенный им, тоже привился в приходе, и узел этот так и назывался «узлом золотоискателя», хотя это и был обыкновенный матросский узел. Лавст Андерс оказался также искусным охотником и стрелял уток на фьорде; говорили, что он приманивал их, сам крикая по-утиному, и многим становилось жутко от такого «заклинания». Были у него и замечатель-

ные часы, которые показывали и месяцы, и дни года; никто понять не мог, как это можно завести часы на такой долгий срок?

Пожив на родине несколько месяцев, «золотоискатель» занялся копанием мергеля. А занимались этим спокон веков лишь самые отчаянные головы, и «мергелеконов» знали за молодцов, которым все ни о чем. Мергель копают двумя способами: в открытых ямах, грозящих оползнями, или в закрытых, которые знающими людьми считаются более безопасными. В последнем случае в верхнем слое почвы вырывают лишь узкий колодец вплоть до залежи мергеля, мергелеком спускается на дно колодца и роется во все стороны. Наверху же стоит помощник и поднимает на блоке ведро с мергелем. Если обвалится такая яма, человек там внизу пропадет; но это случается не так уж часто. Самые залежи мергеля находят следующим способом: двое товарищей, знающих толк в деле, обходят места и буравят землю длинным железным шестом с винтовой нарезкой на конце. Земля, прилипшая к острию шеста, исследуется при помощи азотной кислоты, — если кислота зашипит,

знав
лота
гих,
он з
не
жиз
оди
ми
рой
поп
был
был
Н
стра
не
мол
пил
ным
эксп
лах.
раб
гор
вид
ряк
звя
вып
поя
в

значит, в почве есть мергель. Сначала «золотоискатель» работал по найму на других, и скоро им стали дорожить, так что он зашибал хорошие деньги. В работе он не знал удержу и в грош не ставил жизнь; дело у него так и кипело; он один внизу поспевал за двумя товарищами наверху: первый вертел ворот, а второй отвозил мергель в тачке. Лавст ожил, понав на это дело; вот где, повидимому, было его призвание. Ему необходимо было копать.

Но, разумеется, в недолгом времени страсть к приключениям взяла свое. Ему не терпелось показать себя,—какой он молодец, не в пример прочим,—и он вступил в компанию с тремя шведами, отчаянными пьяницами, решив организовать эксплуатацию мергеля на широких началах. Они купили залежь и первый месяц работали, как все добрые люди, ворочая горбом, словно великаны. С ранней зари виднелись их исполинские фигуры, пыряющие в утреннем тумане, и слышалось звяканье цепей ворота. С ног до головы выпачканные мергелем и сырой землей, появлялись они потом в селе и сорили

деньгами направо и налево, наводя столбняк на людей своим хвастовством, мотовством и забористыми проклятиями.

Но, конечно, у них добром не кончилось. «Золотоискатель» ни в чем не знал меры,—приобрел в городе локомобиль, велел прикатить его за пять миль, установил, и вот эта четверка нехристей принялась выкатывать мергель вагонетками по рельсам! У этих безбожников не было ни капли совести, которая заставляет других добрых людей чураться всяких модных затей. Ведь, мало кому было радости смотреть, как эта скверная труба пыхтела и чадила в степи, не переставая; и можно было прямо ослабнуть умом от одного этого черного дыма и угольной копоти. Словом, не худо было бы им посбавить прыти, пусть даже это дело обходилось без содействия лукавого. Да и страшно было так пускать свою машину: спицы сливались в колесе, с такою быстротою оно вертелось,—того гляди, все разлетится вдребезги! А тогда тяжелые железные осколки могут ведь отлететь, Бог весть куда! Да и надолго ли вообще хватит этой железной штуки? Непременно заржавеет; значит, и расчета никакого нет

обза
ла т
ли з
оди
моби
визж
друг
вател
мерг
Зато
над
две
когда
ной!
Са
впро
гое:
сыно
А
он п
И во
чтоб
Лаво
маст
а ст
вози
мами

обзаводиться ею. Нет, прямо страсть брала глядеть, как эти «компаньоны» истязали землю. Правда, дело у них спорилось: один был тут, другой—там; черный локомотив тряся и гудел; железные цепи визжали и лязгали, и один вагончик за другим вывозил мергель. Никому из обывателей никогда и не снилось добывать мергель в таких колоссальных размерах. Зато никогда еще так и не зубоскалили над «золотоискателем», как спустя недели две по открытии этой «паровой добычи», когда залежь вдруг оказалась истощенной!

Самого Лавста Эриксона это открытие, впрочем, не огорчило. Его удручало другое: ему все не удавалось помириться с сыном.

Аккуратно каждое воскресенье являлся он поутру в село ухаживать за столяром. И все не мог настолько сблизиться с ним, чтобы толком поговорить о чем следовало. Лавст Эриксен обыкновенно заходил в мастерскую и смотрел, как сын работает, а столяр Андерс невозмутимо продолжал возиться с клеем, сосновой сажей и формами из серного камня, в которых отли-

вал сложенные накрест руки и головки ангелов; так время шло до первого благовеста к обедне. Тут столяр снимал с себя кожаный фартук, а старик прощался и уходил. Иногда им случалось обмениваться парой слов, но никогда ни один не заговаривал о том, что, собственно, больше всего интересовало обоих. Столяр Андерс держался при этом с особого рода предупредительностью, словно отец был весьма почтенным клиентом, который лишь что-то долго не может решиться заказать тот гроб, из-за которого приходил.

От дальнейших попыток к сближению Лавст Эриксен воздерживался, ожидая от сына хоть какого-нибудь шага к этому. Обыкновенно, старик становился возле верстака у самого порога, никогда не заходил дальше и ни до чего не дотрагивался после того, как однажды сын молча отобрал у него циркуль, который старик от нечего делать принялся было вертеть в руках. И все время, пока был в мастерской, отец не сводил с сына глаз.

Иногда, впрочем, он пытался нащупывать почву, осведомляясь о здоровье хозяйки, или прямо справлялся о грыже Андерса, но Андерс ничем не откликался

и на
стар
ста
скре
же
паке
след
стар
В эт
обме

Ст
крес
мане
но
нетр
лодн
рост
нут
Анд
кли
тал
то
этой
ло
К т
был
как
не

и на такие подходы. В одно воскресенье старик, будто нечаянно, оставил на верстаке фунт шоколаду, но в следующее воскресенье нашел его нетронутым на том же месте. Лавст даже вздрогнул, увидав пакет. Шоколад оказался нетронутым и в следующее воскресенье, но на этот раз старик дотянулся до него и унес с собою. В эти три воскресенья отец с сыном не обменялись ни словом.

Столяр Андерс сам был природный крестьянин и по себе знал крестьянскую манеру скрытничать, так что ему нетрудно было догадаться, чего хотелось отцу, нетрудно было раскусить напускную холодность старика. Тому хотелось на старости лет чуточку участия, хотелось вернуть себе сына—вот и все. Но столяр Андерс не видел никакой причины откликнуться на это. Не то, чтобы он питал зло против отца за то, что тот когда-то бросил их с матерью,—Андерс ничего этого не помнил, да и не в его натуре было восставать против несправедливости. К тому же, пожалуй, оно и к лучшему было, что отец ушел тогда; старик сам как будто намекнул на это, и нельзя было не согласиться с тем, что вполне резонно

искать счастья в чужих краях, раз на родине тебе заказан путь к нему. Вдобавок Лавст Эриксен, пожалуй, и не собирался покинуть жену и сына навсегда, а хотел только уехать на время, чтобы раздобыться для них же деньжонками, если повезет. Словом, что касалось этой стороны дела, то они еще могли бы как-нибудь столкнуться между собою. Но столяр Андерс ждал—и у него был досуг ждать—чтобы старик объяснил, как он вернулся: в качестве ли обузы, лишнего рта для семьи сына, или..? Лавст Эриксен, между тем, меньше всего желал касаться именно этого вопроса. Вероятно, какой-то инстинкт подсказывал ему сначала испытать сына, обходя этот пункт молчанием. Но это привело только к тому, что они так ни разу и не заговорили о деле.

В будни «золотоискатель» был сильным и неутомимым работником, но, когда по воскресеньям крупными шагами приближался к мастерской своего сына, он казался настоящим стариком. В эти дни он снимал свою диковинную заморскую одежду, в которой блуза переходила прямо в штаны, и надевал синюю куртку с блестящими пуговицами и с манишкой. При-

ходил он ровно в девять часов, и обыватели, направлявшиеся в церковь, видели, как он столь же аккуратно, ровно в десять, уходил от сына прямо к себе на постоянный двор. В церковь он не ходил. Встречные слышали, как он, потупясь в землю, разговаривал на ходу сам с собою, но никто не понимал его, так как он говорил тогда «по-аглицкому». За тот год, что он провел в тех местах, он и сделался какой-то сказочной фигурой в глазах обывателей. Но никому не удалось сойтись с ним поближе.

Лавст Эриксен, усвоивший себе на чужбине суровую, отрывистую манеру обращения, в душе был гораздо мягче и добрее, чем, вообще, свойственно крестьянам. Это сказывалось хотя бы в том постоянстве и аккуратности, с которыми старик воскресенье за воскресеньем появлялся в селе и нырял в маленькую мастерскую, где чахлый долговязый гробовщик поворачивал ему впалый зад своих штанов, не прерывая работы и не разжимая рта, словно отца тут и не было.

Иногда «золотоискатель» стоял так тихо, что сын почти забывал об его присутствии, и тогда по грубым чертам лица ста-

рика пробегало выражение мучительного одиночества; этот прошедший огонь и воду человек тоскливо осматривался кругом, как потерянный, и безнадежно потирал руки. Неужели же для него так-таки и не найдется тут мирного уголка? Неужели ничьи глаза не взглянут на него с преданностью и ласкою на склоне его лет?

В жилой комнате ему так и не пришлось побывать. Но всякий раз, как дверь в нее оказывалась приотворенной, старик притихал, как мышь, и заглядывал туда, где топталась раскисшая, с выпяченным животом жена Андерса, варя на огне вечную картошку, почесывая погтями пробор на голове и то слепая, то утирая своих малышей, у которых вечно текло то с одного конца, то с другого. Часы в жилой комнате тикали с особенной важностью. На комодѣ стояла фотография в рамке рядом с фарфоровой собачкой, и «золотоникителю» всегда в таких случаях думалось, что, может быть, это фотография покойницы-жены и подруги его, которую он покинул. Но он не мог двинуться с места, чтобы войти и взглянуть: его никто, ведь, не приглашал.

— Нау!

Но как-то раз, придя в обычное время в воскресенье, «золотоискатель» не застал Андерса в мастерской; его голос слышался из соседней комнаты, где он тихо разговаривал с детьми, которые то хохотали, то всхлипывали и топали ножонками по полу. Дверь туда была закрыта.

С четверть часа простоял «золотоискатель» один-одинешенек в мастерской на своем обычном месте, оглядывая бедную обстановку и потертые предметы ежедневного обихода сына. Уж он и переминался с ноги на ногу, чтобы дать сыну знать о своем присутствии, и даже крикал, чтоб его услышали,—нет, дверь оставалась запертой.

— Нау!—Старик повернул оглобли обратно.

На другой день к столяру Андерсу явился посланный с парой сапог и с большим толстым конвертом. Это были те самые сапоги, в которых Лавст тут копал мергель; письма в конверте не было, но были зато двести пятьдесят бумажек по десяти крош! *).

*) Крона—расценивалась до войны приблизительно 50 к.

Вот тоже манера посылать такую уйму денег в простом конверте! Много толковали об этом на селе. За такого рода неосторожность человек, пожалуй, обязан дать ответ перед законом. Но таков уж был «золотоискатель», всегда и во всем скоропалительный и нисколько не помышляющий ни о каких роковых последствиях своих необдуманных поступков.

Его способ добывания мергеля и его «фабрика» долго давали людям обильную нищу для шуток даже после его отъезда. Ведь, сколько деньжищ слопал этот лодомобиль! Но как же ему было не грезить всяких глупостей в Америке? Останься Лавст Эриксен при старом способе добывания мергеля, ему хватило бы той залежи на весь остаток его жизни.

Ну-с, так в один прекрасный день «золотоискатель» взял да и уехал. Улизнул втихомолку вместе со своим кованым сундуком и кротовыми лапками. Он вернулся обратно в Соединенные Штаты, в необозримые прерии и бесконечные леса.

В Гробёлле о нем никогда больше и слыхом не слыхали.

Перевод с датского

А. и П. Ганзен.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие А. В. Ганзен	5—24
Зверинец	25—81
Золотоискатель	82—106

Перев. А. и П. Ганзен.

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. <i>де-Мопассан</i> | — Милый друг. |
| ” | — Сильна как смерть. |
| <i>А. Франс</i> | — Остров Пингвинов. |
| <i>Лили Браун</i> | — Письма маркизы. |
| <i>Гонкур</i> | — Братья Земганно. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| №№ | |
| 1. <i>О. Мирбо</i> | — Деревенские рассказы. |
| 2. <i>Мюльтатули</i> | — Рассказы. |
| 3. <i>Марк Твен</i> | — Приключения Тома. |
| 4. <i>Г. Д'Аннуцио</i> | — Пескарские рассказы. |
| 5. <i>А. Шамиссо</i> | — Петер Шлемиль. |
| 6. <i>А. Франс</i> | — Дело уличного торговца. |
| 7. <i>Г. ав Гейерстам</i> | — Любовь и др. рассказы. |
| 8. <i>Робин Гуд</i> | — Баллады. |
| 9. <i>Г. Деледда</i> | — Сардинские рассказы. |
| 10. <i>О. Уайльд</i> | — Сказки. |
| 11. ” | — Гранатовый дом. |
| 12. ” | — Рассказы. |
| 13. <i>Д. Лондон</i> | — Сын волка. |
| 14. <i>Г. Уэллс</i> | — Спящий пробуждается. |
| 15. <i>Вальтер Скотт</i> | — Черный карлик. |
| 16. <i>Вальтер</i> | — Кандид. |
| 17. ” | — Повести. |
| 18. <i>Беранже</i> | — Песни. |
| 19. <i>С. Т. Кольридж</i> | — Поэма о старом моряке. |
| 20. <i>Г. Р. Хопард</i> | — Коня царя Соломона. |

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 21. Шиллер | — Разбойники. |
| 22. Д. Лондон | — Закон белого человека. |
| 23. Вольтер | — Белый бык. |
| 24. Б. Ибаньес | — Валенсианские расск. |
| 25. И. Иенсен | — Гиммерландские расск. |

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

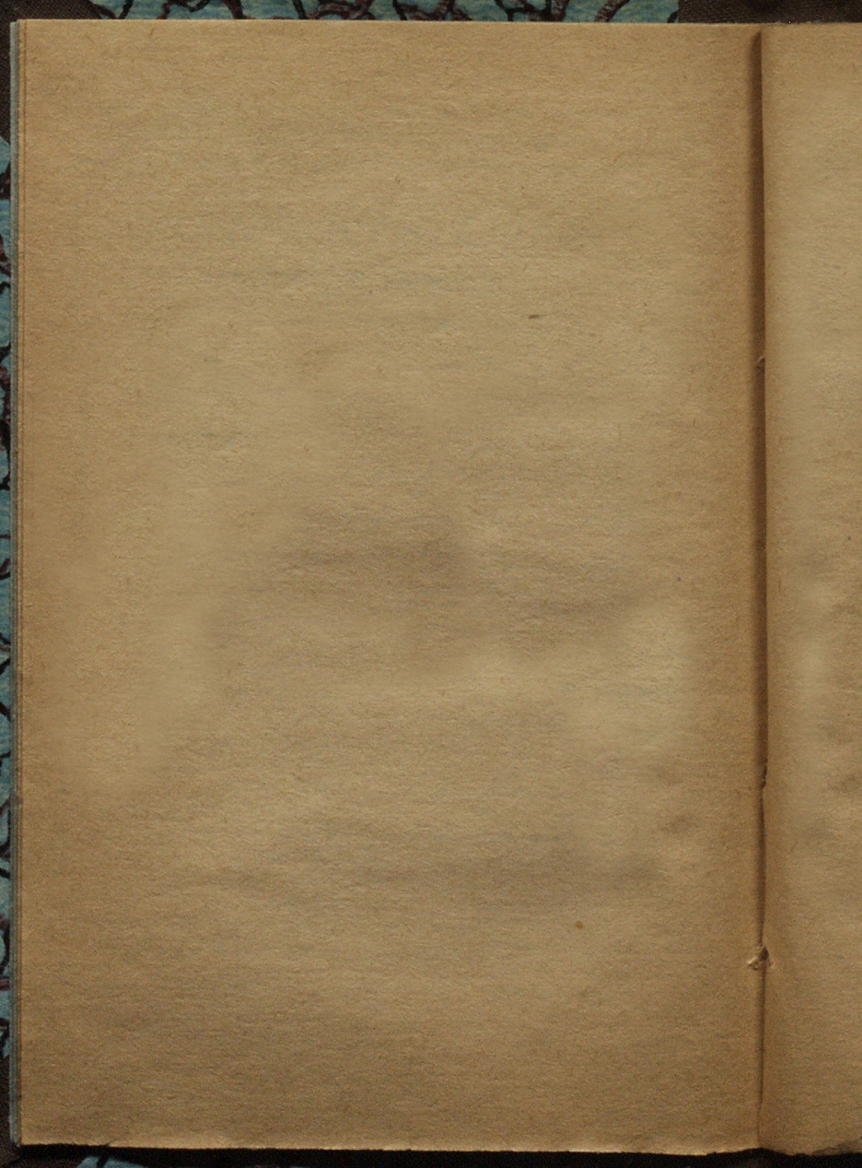
ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|---------------|--|
| А. Лесаж | — Хромой бес. Тюркаре. |
| „ | — Жиль Блаз. |
| Б. Ибаньес | — Власть мертвых. |
| „ | — Проклятый хутор. |
| А. Франс | — Восстание ангелов. |
| Г. Флобер | — Саламбо. |
| „ | — Воспитание чувства. |
| Ч. Диккенс | — Повесть о двух городах. |
| „ | — Наш общий друг. |
| „ | — Большие ожидания. |
| „ | — Жизнь и приключения
Николая Никкльби. |
| „ | — Жизнь и приключения
Мартина Чеззльвита. |
| „ | — Домби и Сын. |
| Вальтер Скотт | — Уэверли. |
| „ | — Роб Рой. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

<i>Г. Уэллс</i>	— Машина времени.
”	— Невидимка.
”	— Борьба миров.
<i>Вольтер</i>	— Задиг.
”	— Принцесса Вавилонская.
<i>Марк Твен</i>	— Принц и нищий
<i>А. Франс</i>	— Сказка о сорочке.
<i>М. Сьерра</i>	— Благословенная весна.
<i>А. Нордстрем</i>	— Обыватели.
<i>Дж. М. Барри</i>	— Белая птичка.
<i>Ю. Юнгсон</i>	— Африканские рассказы.
<i>О. Гольдсмит</i>	— Векфильдский священник.
<i>Г. Федерер</i>	— Прометей и др. расск.
<i>Г. Байн</i>	— Четыре дьявола.
<i>А. Франс</i>	— Чудо св. Николая.







ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ПЕТЕРБУРГ
Московск. №36.



ЦЕНА 10 РУБ.